МАЛЬЦЕВ

КОНВЕЙЕР ГПУ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор – полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками. В 1943 начал заниматься формированием Русской восточной авиационной группы. В частности, посещал лагеря военнопленных, агитируя лётчиков вступать в эту воинскую часть. В 1944 выступал с антисталинскими речами по радио и в лагерях военнопленных. В том же году руководил формированием нескольких авиационных групп из числа пленных советских летчиков для перегонки самолетов с немецких заводов в действующие части германской армии. С осени 1944 руководил формированием в Хебе (Чехия) авиационной части, которая в феврале 1945 составила основу ВВС Комитета освобождения народов России (КОНР). В том же месяце стал командующим ВВС КОНР с присвоением воинского звания генерал-майора.

В 1945 году передан американской стороной Красной армии, в 1946 году осуждён по обвинению в государственной измене, лишен воинских званий, государственных наград и казнён.

- Мальцев В. И.
  - От автора.
  - Первое знакомство с тюрьмой
  - Камера № 23
  - Камера № 19
  - Камера № 11
  - Камера № 18.
  - Камера № 46.
  - На свободу.
  - Неоправдавшиеся надежды.
  - К новой жизни

Мальцев В. И.
Конвейер Г.П.У.

От автора.

Чтобы рационализировать производство, человеческий ум изобрел конвейер. В наше время каждый знает это усовершенствование, почему последнее и не нуждается в специальном пояснении.

Здесь речь пойдет о другом конвейере, мало или совсем незнакомом первым его изобретателям. Они, конечно, не подозревали, что продукт их творчества будет скопирован и применен к людям советскими чекистами.

Советские граждане в большинство также не имели представления об этом усовершенствовании Г.П.У. Но не найдется ни одного человека, не сидевшего в тюрьмах под кличкой «врагов народа» в период 37-38-39 годов, который не испытывал бы на себе «благотворного» действия этого механизма.

Оставшиеся по счастливой случайности в живых расскажут истории много жутких фактов, продемонстрируют в доказательство сомневающимся переломанные ребра, отбитые внутренности, выбитые зубы и прочую продукцию этого рационализированного метода допроса.

Конвейер Г.П.У. является доказательством и уликой вероломной, бесчеловечной и кровожадной политики «мудрого отца, народов» – творца «самой демократической конституции в мире».

На основе этого документа, полного неприкрытого цинизма, и обмана, стали возможны те средневековые пытки, коим подвергали доверчивых граждан.

Только потерявшие всякие моральные принципы, или вернее, не имевшие их никогда. – могли так нагло, со спокойной совестью, как дешевые шулера, не отработавшие далее ловкости рук, жонглировать историческими документами.

Русский народ великодушно поверил «демократическим свободам» и начал, робко, с оглядкой критиковать.

Но недремлющее око Г.П.У. так же рьяно выполняло демократические принципы конституции, заполняя тюрьмы тысячами невинных жертв.

Статьи и параграфы «самой демократической конституции в мире» красочно и нагло возвещали о свободе слова, печати, собраний и прочем, о чем так мечтал русский человек.

Но у «великого отца народов» легко уживались провозглашенные свободы с уголовно-процессуальным кодексом и ст. 58, параграфом 10, гласящим: «За антисоветскую агитацию», т. е. за эту самую свободу слова, – «виновные подвергаются

тюремному заключению от 3 до 10 лет».

И вот беспрерывно работает кровавый конвейер, заставляя утонченными пытками признавать никогда несодеянные тягчайшие преступления.

Избитый до полусмерти «свободный гражданин» начинает понемногу просыпаться в переоценивать ценности, ощущая до боли во всем теле согревающие его сталинские солнечные лучи. Ему вспоминаются все свободы, дарованные народу этим историческим документом, в невольно в мозгу пробегают вступительные строки:

> «Сталинская конституция не есть программа на будущее, – она является итогом прошлых завоеваний».

Подумав робко про себя и бросив пугливый взгляд на окружающих, он мысленно произносит:

«Слава Богу, что это хоть не программа будущего, а кошмар настоящего и прошлого».

Конвейер Г.П.У. – это система беспрерывного допроса и утонченных пыток. Разница между механическим и человеческим конвейером заключается в том, что с первого, в результате всех операций, снимается готовый агрегат, а со второго, в зависимости от волевых качеств «врага народа», его здоровья и кровожадности следователя, – людей уносили на кладбище или же с переломленными ребрами, выбитыми челюстями, но все еще живых, бросали снова в подвал. Эта передышка, на жаргоне чекистов, называлась: «дать отойти от первого крещения».

Скрипят засовы тюремной камеры, открывается дверь и одновременно на пол валится какая-то бесформенная масса. Всем ясно – втолкнули очередную жертву сталинского конвейера.

Вопросам нет места. Только побывавшие в этой мясорубке соседи бегло обмениваются скупыми репликами, оценивая и критикуя, как знатоки, чистоту работы следователя.

Мне хочется на этих страницах изложить не роман или повесть. Не найдет здесь читатель также и социального заказа советскому писателю с трафаретной фабулой о нескончаемых стройках, вредительстве, разоблачения врагов народа зорким оком Г.П.У. и постоянным триумфом «мудрой политики отца народов». Это просто хронологический рассказ одного из миллионов, испытавших на себе работу сталинского конвейера.

За 1 1/2 года сидения под следствием в тюрьме я воочию убедился и испытал на своей спине все прелести советской демократии.

Пистолет, шомпол или плетка в опытных руках следователя не раз согревали меня благотворными лучами сталинского

солнца.

Миллионы русских людей с облегчением произносят:

«Слава Богу, наконец, то это самое демократическое светило закатывается за горизонт, а с ним вместе и его незадачливый кровавый творец».

Первое знакомство с тюрьмой

«Мы не караем, а исправляем».

Некоторые утверждают, что им свойственно предчувствие беды. Не знаю, – я этого не испытал, хотя несчастье коснулось и меня.

Памятный день 11 марта 1938 г. – суббота – ничем буквально не отличался от всех остальных. Так же, как и всегда приехал в Управление, принял срочные доклады начальников отделов и поехал на аэродром.

Шум самолетных пропеллеров и спешно снующие бортмеханики и авиатехники были так привычно знакомы и близки.

Приняв рапорт дежурного, ознакомившись с работой и дав соответствующие указания, я в прекрасном настроении поехал в город.

В ресторане Дома Советов пополнил достаточно однообразным меню затраченную энергию и снова без всякого предчувствия надвигающейся опасности вышел на улицу. Садясь в машину, увидел идущего ко мне уполномоченного НКВД по воздушному флоту Халявина с неизменной слащаво-гаденькой улыбкой на дегенеративном лице. Подойдя, последний поздоровался и, как всегда, не глядя в глаза, произнес:

– Виктор Иванович, вас просит срочно заехать нарком НКВД.

Я предложил ему место в машине и через пять минут под'ехал к зданию НКВД.

Халявин услужливо побежал в комендатуру за пропуском, и мы прошли во внутренние апартаменты.

Иду спокойно. Предчувствие и здесь не подсказало, что обратно из этого «святилища» мне суждено будет выйти только через 1 1/2 года. Полтора года физических и моральных пыток, но зато и политической переоценки всего существующего порядка.

Сажусь в приемной кабинета и рассеянно просматриваю газеты. Проходит минут пять, и я спокойно задаю вопрос:

– Где же нарком?

В ответ получаю вежливое извинение и просьбу немного подождать. Погружаюсь снова в газету и замечаю, что в приемную входят четыре чекиста и о чем то шепчутся с Халявиным.

Дочитать заметку мне так и не пришлось: как молния все пять молодцов бросаются на меня и, вероятно, от «излишней храбрости», навалившись кучей, злорадно рычат:

– Оружие есть?

Оружие у меня было, но с собой я его не носил. Убедившись, что таковое отсутствует, – «герои» несколько успокоились.

Ошеломленный таким приемом, но все еще наивно доверчивый, я ничего не понимал, а в голове мелькнула детская мысль, – вероятно со мной просто шутят.

Но моя наивность быстро сменилась сознанием серьезности всего происходящего.

Храбрая ватага начала с усердием срывать с меня ордена и нашивки.

Операция была произведена изумительно быстро, и я, ошеломленный, ничего не понимающий, но уже с кандалами на руках, весь оборванный стоял и видел перед собой их победоносные лица.

Глаза и руки сих стражей быстро рассматривали и прощупывали мои документы и складки платья, вероятно в поисках особо важных контрреволюционных документов.

В голове был хаос. Пытался заявить, что это вероятно недоразумение и просил дать компрометирующие меня материалы.

Но как все резко изменилось; куда исчез вежливый тон Халявина. Осталась только неизменной мерзко слащавая улыбка.

В ответ на мое требование последовал грубый окрик:

– Подожди, покажем все документы, сам их напишешь.

Так ошеломляюще быстро и просто из свободного гражданина Советского Союза я превратился в политического арестанта, – «врага народа», не чувствуя за собой и тени преступления, кроме разве наивной веры в свободы, дарованные «самой демократической конституцией в мире».

Подписав какой то клочок бумаги, именуемый «актом личного обыска», под конвоем двух «храбрых» следователей с обязательно наставленными на тебя «пушками», как называли мы револьверы, – меня повели во внутреннюю тюрьму, расположенную для конспирации тут же в здании, и сдали, как драгоценную ношу, надзирателю.

Надо отдать справедливость руководству Г.П.У., подбирающему тюремные кадры. Здесь был представлен полный букет человеческой тупости, дегенеративности и людоедской кровожадности.

В эти черепа вбивали примитивные приемы палачей, не забывая и чекистского психологического воздействия.

Первое знакомство с этим типом людей из отбросов человеческого рода было ошеломляюще.

О нравах и обычаях советских застенков я имел

представление только но отдельным статейкам, красочно доказывающим перековку душ «закоренелых преступников» под «благотворным и гуманным» воздействием Г.П.У.

Но вот подошла и моя очередь, начали ковать и мою душу.

Первое приветствие коменданта тюрьмы не отличалось особой вежливостью и заключалось в грозном окрике:

– Раздевайся.

Уяснив себе эту несложную команду, я показал ему на наручники, давая понять без слов, что в этих браслетах вряд ли я смогу выполнить его приказание.

Ключ прикоснулся к замку, и мои руки оказались свободны.

Снял с себя шубу – ожидаю. Увидя, вероятно, мою нерешительность, сей ретивый служитель пришел в ярость и заорал:

– Тебе говорят, фашистская сволочь, раздевайся, или ждешь, чтобы помогли?

Получив это вторичное недвусмысленное приказание, хотя и не понимая смысла происходящего, снимаю остальные части туалета. Остаюсь босой, в одном белье на холодном цементном полу.

Но перековка души началась. Освирепевший служака сорвал с меня сорочку и кальсоны, и я предстал совершенно голый и перед его грозными очами. Озноб нервный сменялся физическим холодом. Дальнейшее меня окончательно ошеломило. Позднее с улыбкой рассказывал я об этом своим друзьям но несчастью.

Комендант, видя, что я новичок, вероятно решил продемонстрировать один из заученных методов психологического воздействия. Взяв большой нож и придав своей тупой роже звериное выражение, он начал его усердно точить, бросая на меня исподлобья косые взгляды.

Не испуг, нет, что-то непонятное пронеслось в моей разгоряченной голове.

– «Ах, вот как, – подумал я про себя, больше удивленный, чем испуганный, – почему же у меня раньше была уверенность, что врагов народа обязательно расстреливают. Отшивается – их просто режут».

И эта мысль оттеснила даже страх перед смертью.

Палач знал действие данного метода и, насладившись произведенным эффектом, к моему великому изумлению, набросился, но не на меня, а … на крючки и пуговицы моей одежды.

Минуты через две, все еще как во сне, слышу команду:

– Одевайся.

Операция одевания была несколько необычно. Особо злостно

не подчинялись брюки и кальсоны, лишенные крючков и пуговиц, поддерживая те и другие руками, я снова облачился в свою кастрированную одежду.

Дальше последовало заполнение анкеты, и другой страж, проведя меня по узкому коридору, открыл засов двери, на которой я успел заметить цифру 23.

Меня втолкнули в одиночку.

Камера № 23

Проскрипел засов двери, и я, наконец, остался один.

Камера, размером полтора на два с половиною метра, стала моей новой квартирой. Высоко под потолком маленькое окошечко с толстыми решетками и тюремный волчок в двери наглядно подтверждали назначение жилища.

Вероятно от быстрой смены обстановки я все еще смутно сознавал происходящее. В голове бессвязно проносились мысли.

Решетка подсознательно действовала на нервную систему, а в мозгу назойливо звучал мотив старой песни:

«Сижу за решеткой в темнице сырой»…

Остаток дня не вывел меня из хаоса мыслей. Только вечером я начал болезненно сознавать свою новую роль. Разум отказывался понять и представить, что вот ты сидишь под замком и не можешь по своему желанию пойти или поехать куда хочется. Сознание полной беспомощности наполнило тоской и холодом всю душу.

Слух все время ловил малейшие шорохи, а напряженное воображение рисовало различные картины. Казалось, вот сейчас откроется дверь, войдет кто-либо из знакомых и с улыбкой скажет:

– Ну, Виктор Иванович, поедем ужинать, – это была только шутка.

Да, это, действительно, оказалась шутка, злая, кошмарная шутка, длившаяся 18 месяцев.

Ночь. Первая ночь в тюрьме. Как она длинна и томительна в одиночке.

После отдельных минут забытья, открывая глаза, долго не могу понять – где я? Затем мозг восстанавливает всю картину случившегося, и тоска, – тоска, доходящая до боли, охватывает все существо.

Началась новая однообразная тюремная жизнь. Утром надзиратель всовывает в форточку кусок хлеба и воду. Задавать вопросы не разрешается. В ответ на мое обращение, – нельзя ли получить карандаш и бумагу, – получил внушительный пинок надзирательским сапогом.

Так потекли однообразно дни за днями, отмечаемые черточкой ногтя на стенке каземата.

Жажда общения с людьми с каждым днем усиливалась. Безумно хотелось хоть какому-нибудь живому существу задать

вопрос, услышать человеческий голос. Но стены каземата мрачно молчали, храня и себе много тайн и человеческих страданий.

Через несколько дней неожиданно слышу какие то глухие стуки в стену моей камеры. Вначале недоумеваю. Вдруг меня осеняет мысль, и я понимаю, что это другая жертва подает мне условные сигналы.

Вспомнились рассказы о своеобразной тюремной азбуке, но которой переговаривались заключенные с соседними камерами, узнавая одни от другого все новости тюремной жизни.

Но что мог я ответить на эти закономерные звуки?

Беспомощно постучал кулаком в глухую стену, давая понять своему соседу о моем пребывании.

Бессильная злоба охватила меня от сознания, что рядом сидящий живой человек не может со мной говорить из-за моего незнакомства с тюремной азбукой.

Однажды, после семидневного одиночного заключения, глубокой ночью вдруг заскрипели засовы моей камеры. Этот неурочный лязг железа невольно заставил меня вздрогнуть и насторожиться.

Дверь отворилась, и в камеру втолкнули весьма солидную фигуру в военной шинели с оборванными знаками различия.

Вид живого человека наполнил все мое существо неиз'яснимой радостью. Ведь я уже не один.

В голове невольно промелькнул одни из лозунгов:

– «Жить стало лучше, жить стало веселее».

Я готов был броситься на своего незнакомца и целовать, целовать без конца это живое существо.

Не успел привратник задвинуть железный засов двери, как я уже засыпая вопросами своего нового соседа.

Усевшись рядом, последний мрачно осмотрел обстановку камеры и с опаской покосился на меня.

Он оказался тоже полковником, но не авиации, а кавалерии, и только что совершил свой последний кавалерийский рейд в тюремном вагоне из места расквартирования его полка до города Ашхабада.

Наговорившись вдоволь и рассказав ему о всех превратностях судьбы, я убедился, что мой кавалерист такой же «опасный преступник», как и я.

На другой день сосед не совсем уверенно сообщил, что ехавшие с ним в вагоне арестанты беседовали между собою о пытках и избиениях. Сам он этого пока еще не испытал.

Помню, как тогда я ему наивно ответил, что не верю подобным рассказам, и это ни больше, ни меньше, как провокация. Первое знакомство с тюрьмой меня еще малому

научило. Так велика и наивна была вера в справедливость существующего порядка.

Далее события развивались в нарастающем темпе, и скоро мы оба уже, не сомневались в правдивости кошмарных рассказов о средневековых издевательствах над человеком.

Дней через пять совместного сидения снова ночью заскрипел засов, открылась дверь, и голос привратника об'явил:

– Немедленно собирайся с вещами. Куда, зачем нас хотят вести – ничего неизвестно. Сборы были коротки. Все наше движимое и недвижимое имущество находилось на нас.

Несколько позже, несмотря на конспирацию, мы узнали причину перемены камеры. Оказалось, одни из заключенных, не вынося пыток, вырвался из рук палачей и, выбежав из конвейера, бросился с третьего этажа в пролет лестницы. После больницы, последний с переломанными ногами и руками был помещен в нашей «уютной» комнатке.

После итого случая все окна и пролеты лестниц были заделаны решетками. Последняя возможность покончить с собой таким путем отпала. Жертва не могла ускользнуть из рук следователя, хотя бы и на тот свет. От нее требовалось обязательно раскаяние в несодеянных страшных преступлениях с указанием завербованных участников заговора.

Ночной путь наш оказался очень коротким. Пройдя мимо двери № 21, нас втолкнули и камеру № 19, каковая и приютила меня до 30 июля. И ней я окончательно познал цену советской демократии и испытал на себе работу конвейера.

Камера № 19

Несмотря на некоторый уже тюремный стаж, неожиданности одна за другой поражали меня.

Позже я неоднократно на себе испытывал магическое действие скрипа засовов на нервную систему в ночное время. При этом звуке все находящиеся в камере вскакивают и, дико озираясь, ждут дальнейших событий. Состояние это понятно, так как обычно ночью уводят приговоренных на расстрел.

Пойдя в камеру, я невольно остановился пораженный. Это была уже не тихая одиночка, а достаточно людное общежитие. Спертый, зловонный воздух ударил и нос. Какой то человек с громадной копной седых полос сорвался с места и дико, бессвязно бормоча, замахал руками перед моим лицом.

Выкрики этого помешанного и десяти устремленных горящих глаз подействовали крайне угнетающе. Мелькнула мысль:

– «Это вероятно камера для душевнобольных».

Общество помешанных, шпионов, диверсантов, вредителей, террористов, как я представлял новую кампанию, мне совсем не улыбалось.

Но каково же было мое удивленно, когда я услышал голос:

– Привет т. полковнику, и вы здесь?

Другой подходит вплотную и, протягивая руку, произносит:

– Не узнаете? Полковник Измайлов. Ничего, у нас компания неплохая, чувствуйте себя как дома, и рассказывайте новости.

Все это пронеслось, как сон. Но передо мной стояли живые фигуры полковника Измайлова и наркомздрава Факторовича.

На душе стало как то легче, и даже продолжающиеся выкрики душевнобольного не действовали так удручающе.

Все эти «от'явленные преступники» не стали казаться такими страшными, как минуту назад, а наоборот, что-то теплое почувствовал я к этим людям, близким себе по общему несчастью.

Я сам впоследствии испытывал чувство радости, когда в камеру приводили нового человека. Каждое слово его жадно ловилось, всем хотелось узнать, что делается там, в другом мире, отделенном от нас глухой решеткой.

После первого знакомства, меня и моего соседа засыпали вопросами. Мы, в свою очередь, также жадно интересовались порядками тюремной жизни и ожидающими нас перспективами.

Ночь прошла незаметно. Утром началось более близкое знакомство с жильцами камеры № 19.

Последняя представляла квадратную комнату в 10 метров с переменным составом обитателей от 10 до 14 человек. Кроме

вышеуказанных знакомых, в ней находился начальник железнодорожного депо, вина которого заключалась только в том, что его бабушка была по происхождению немка. Обвинялся он в фашизме. Но что конкретно это означало – никто из нас не имел представления.

Это был мужчина лет 45, исключительно спокойный и уравновешенный. С его мнением считались. Последний нередко прекращал горячие споры, готовые перейти в драку. Производил он впечатление честного, прямого и неподкупного человека.

Я невольно с ним сблизился. Наши беседы вполголоса в углу камеры заставили меня многое передумать и посмотреть на ряд вещей совершенно иными глазами.

Независимо от окружающей обстановки и неблестящих перспектив, меня не покидали жизнерадостность и юмор.

Задыхаясь ночью от зловония и спертой« воздуха, слыша проклятия соседей, я вполголоса напевал:

– «Хороша страна моя родная.
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю.
Где так вольно дышит человек.»

Дышать, действительно, пока разрешалось вольно, но воздуха было совсем маловато, и мы мысленно переносились в эти самые леса, поля и реки, где, конечно, воздух был прекрасный и дышалось легко.

Живя тесной семьей, абсолютно ничего не делая, я невольно занялся изучением внутреннего облика своих соседей.

Между прочим, но секрету, мой приятель, начальник депо, мне сообщил, что и здесь, среди арестованных, есть сексоты, передающие все разговоры тюремному начальству. Жуткое омерзение охватило меня при мысли, что даже в этих стенах, полных ужаса и человеческих страданий, имеются эти отбросы человеческого рода.

Среди заключенных находился районный прокурор, по национальности туркмен.

Перед арестом он пытался покончить жизнь самоубийством, выпустив две нули из браунинга в висок. Но но злой иронии судьбы они скользнули по-над кожей черепа и вышли в середине лба. Лежал он рядом со мной, и от грязной нагноившейся тряпки на голове исходило тошнотворное зловоние.

Вероятно, этому представителю правосудия хорошо были знакомы нравы и обычаи застенков Г.П.У., если он предпочел последнюю нулю в лоб. Конечно, многие из нас избрали бы

подобный конец, если бы знали заранее ожидающие нас перспективы.

Человек он был чрезвычайно ограниченный и тупой. Излюбленным лейтмотивом его рассуждений было обвинение всех русских людей, загубивших туркменский народ.

Тепло вспоминается другой товарищ – зам. председателя Туркменского Госбанка Александров.

Темпераментный, легко возбуждающийся, готовый в споре сделать противнику «физическое замечание», он представлял собой образец прекрасного, великодушного, с широкой русской натурой, крайне доброго человека.

Получая от жены ежемесячно 50 рублей денег и белье, он буквально делил все поровну между не имевшими передач. Первые трусы и носки я получил от него. Эта натура импонировала мне всем своим существом, и мы подружились.

Через некоторое время у нас созрел план разоружения надзирателей, но нашим наивным мечтам не суждено было осуществиться. В этих застенках все было продумано до тонкостей.

Мы условились во время прогулки напасть на надзирателя и завладеть его наганом. Но каково же было разочарование, когда нам стало известно, что эти телохранители носят незаряженные револьверы, предвидя подобный вариант. Внешняя же охрана окружала железным кольцом тюрьму, а через проволоку, украшающую и без того высокий забор, был пропущен электрический ток.

С пустыми руками всякая попытка явно обрекалась на полную неудачу.

Бежать вообще мы и не замышляли. – это было невозможно, – Но лучше умереть с оружием в руках, чем ждать, когда тебя повезут на убой, как скотину.

Хотелось только одного: выбраться из тюрьмы, уложить на месте двух-трех палачей, выбежать к народу, этому доверчивому русскому народу, и крикнуть во все горло:

– «Вас обманывают, нет врагов народа. Есть сталинские палачи, которые, выполняя кровожадно-трусливую волю своего хозяина, подвергают пыткам ни в чем неповинных людей. Очнись, русский народ, сбрось с себя это кошмарное чудовище, заливающее кровью лучших сынов всю страну исключительно из-за животного страха потерять свою власть.»

После этого последняя пуля должна была избавить вас от земного советского счастья.

Справа от меня сидел педагог школы. Достаточно развитой и чрезвычайно осведомленный в ряде вопросов секретного порядка,

не имеющих к его работе ни малейшего отношения..

Этот человек вызывал во мне невольное отвращение, хотя был достаточно вежлив и любезен. Алчность его доходила до омерзения. Сидя в углу, он жадно пожирал купленные из тюремного ларька продукты и со спокойной совестью отказывал голодным товарищам в кусочно хлеба.

За какие то, вероятно, «особые» заслуги перед следователем, ему разрешали получать из дому все необходимое.

Этого человека я инстинктивно сторонился и нехотя отвечал на его вопросы.

Наркомздрав Факторович – тип хитрого, осторожного и трусливого политикана. Достаточно культурный и образованный, он вызывал во мне постоянное бешенство при спорах. Чувствовалась во всем неискренность и фальшь.

Вероятно из-за животной трусливости он всегда находил закономерное об'яснение творящейся вокруг инквизиции, доказывая, что эти издевательства являются исключительно делом рук местных заправил Г.П.У. Руководство центра работой палачей он всегда настойчиво отрицал. Подобная позиция меня положительно бесила.

Чувствуя это двурушничество, я задаю ему вопрос:

– Ну, а как же вы, Яков Маркович, смотрите на свободу слова, печати и прочее, об'явленное в конституции, и § 10 статьи 58 Кодекса, карающий за эту самую свободу от 3 до 10 лет? Что, это тоже местная инициатива или центральная провокация с целью выявления свободомыслящих граждан?

– Видите ли, Виктор Иванович, конституцию нельзя понимать так упрощенно, как это делаете вы. Данный параграф подразумевает свободу слова и печати в интересах трудящихся.

Меня охватывает бешенство.

– Так что же, но вашему выходит, что старая конституции даже в интересах трудящихся запрещала говорить? В противном случае скажите, в чем же разница между первой и сталинской конституцией?

Начиналась снова туманная мотивировка, а я, уже окончательно потеряв самообладание, кричу:

– Ну, и сидите вместе с нами, терпите избиения и издевательства, защищайте то, во что сами не верите. Трусьте и пресмыкайтесь до конца, – он все равно будет всем нам один.

В разговор вмешивается начальник депо и своим ровным голосом сразу успокаивает расходившиеся нервы.

Остальные соседи не представляли особого интереса и были в большинстве контрабандистами, переправляющими из Ирана терьяк (опий) в Туркмению. Но, попав в полосу ликвидации

«врагов народа, и, вероятно, для счета, им всем приписывали шпионаж.

Судя по по лицам и отдельным репликам, их очень мало устраивало такое вольное переквалифицирование статьи.

В другое время большинство из данной компании контрабандистов считало бы за честь сидеть и беседовать с такими сравнительно важными чиновниками, какими являлась другая половина камеры. В настоящих же условиях только изредка некоторые из них вставляли фразу на ломаном русском языке:

– Раншэ поймал мэня с терьяк – пустяк – контрабанд, тэперь из-за вас стали мы шпион.

Иногда я задумывался над работой следователей. Неужели же они действительно верят и искренность признаний допрашиваемых?

Умственная работа но разоблачению заменялась плетью и сапогом. Каждый осел мог с успехом выполнить подобные функции.

Хотя большинство следователей по своему интеллекту мало чем отличалось от этого животного, разве только отсутствием трудолюбия.

Обычно иранцы и афганцы, не отдавая себе ясного отчета, что такое шпионаж, не заставляли следователей долго изощряться в получении желаемых сведений.

Уходя на конвейер, они боязливо, как школьники перед экзаменом, спрашивали, что им говорить следователю.

Ответы должны содержать в себе искреннее признание, хотя бы отдаленно походящее на правду и набавляющее от пытки.

Соседи обычно давали всем стандартные напутствия:

– Если будут пред'являть обвинение в терроре – сознавайся, что хотел взорвать Чарджуйский железнодорожный мост.

Если бы можно было извлечь из архивов показания всех этих террористов, то оказалось бы, что десятки организаций с сотнями преступников стремились к одной и той же цели. Но все бесплодно. Благодаря своевременному разоблачению Г.П.У., Чарджуйский мост и поныне благополучно существует.

Ведь стоило только одному неглупому и честному человеку суммировать все эти показания, как абсурдность последних становилась очевидной.

Но следователей меньше всего интересовал вопрос выявления преступников.

Важно было признание. Чем больше и быстрее таковое получалось, тем талантливее считался их разоблачитель.

Вам покажется дико, но это действительно было так, когда

высшая инстанция давала контрольную цифру подлежащих аресту врагов народа.

Следователи, в усердии выполнить Данную директиву, не жалели сапог и кулаков.

Получить звание стахановца, а может быть украсить грудь медалькой – каждому было лестно.

Действительно, план выполнялся с превышением, причем, поверьте, без всякого очковтирательства, так вошедшего в систему других наркоматов при даче сводок.

Гимнастерки «особо талантливых выявителей врагов народа» украсились орденами.

При подобной штамповке обвинений – искренних признаний и щедрых поощрений – не стоило, конечно, утруждать свои убогие мозги кропотливой работой следователя, необходимой при выявлении действительных преступников.

Те же соседи перед уходом на конвейер наставляли:

– Если тебе пред'явят шпионаж и чтобы ребра твои были целы, – не задумываясь сознавайся в том, что ты считал в воздухе самолеты и сведения передавал в Иран или Афганистан.

Действительно, в Ашхабаде трудно было придумать другой, более интересный об'ект.

И вот, наш гражданский аэродром с пятью старыми пассажирскими самолетами становится излюбленным об'ектом шпионажа.

Злополучная пятерка самолетов в пылкой фантазии кающихся грешников превращается в 10, 15 и даже один сознался, что он видел 50 аэропланов.

Все эти цифры не смущали следователей.

Важно «искреннее признание». Последнее устраивало дознавателя, отмечающего у себя по выполнению плана еще одну единицу талантливой работы. Был также доволен и преступник, избежавший таким признанном пыток.

Как правило, подписавшего протокол с «чистосердечным признанием», – не били, а отправляли обратно в тюрьму.

Вернувшись в камеру, новоиспеченный шпион возбужденно, по радостно говорил:

– Подписал протокол, что считал в воздухе самолеты, а сведения передавал за границу.

Этого наивно детского лепета было достаточно, чтобы человека расстрелять. Но зато последний знал, что его снова не пригласят на конвейер.

Дальше следовало сиденье в камере в ожидании приговора. Решение выносилось заочно так называемой «тройкой». За одну ночь, стараясь не затормозить общий ход конвейера, это

верховное судилище рассматривало сотни дел с «чистосердечными признаниями».

Приговоры были коротки и гласили – «расстрел», 5, 8, 10, а позже, особым добавлением к кодексу – и 25 лет.

Надо было видеть радостные лица людей, не забудьте, абсолютно ни в чем неповинных, получивших 8-10 лет, чтобы представить кошмар этой инквизиции.

Последние прыгали, как дети. Действительно, вместе с 8-10 годами кончалась пытка и жуткие еженощные ожидания расстрела. В перспективе – лагеря, которые после пережитого представлялись курортом.

Остающиеся с завистью посматривают на счастливцев. У одних впереди еще конвейер, другие каждую ночь ожидают конца.

Но был и другой сорт преступников, которые ни за что не желали подписать протокол и сознаться в том, чего никогда не делали. Тогда конвейер работал полным ходом, и упрямых закоренелых преступников часто уносили на кладбище или же полуживых снова бросали в тюрьму для передышки.

Вид этих злостно не раскаивающихся людей при возвращении в камеру внушал ужас.

Дней через 10 после моего пребывания в камере №19 принесли одного туркмена после 23-дневного беспрерывного допроса. Дна дня он лежал без движения. Товарищи вливали в рот воду. Запекшиеся губы представляли сплошное кровавое месиво, а вместо зубов зияли развороченные десны.

Но живуч человеческий организм.

На третий день наш труп начал уже приподниматься и обводить мутными глазами окружающих. Затем попросил снять с него одежду.

Тут нашим глазам представилась жуткая картина: спина представляла сплошную рану. Грязная рубашка вместе с гноем и кровью отделялась от мяса. Внутренности были отбиты, и кашлял он кровавой пеной.

Придя в себя, последний на ломаном русском языке начал свой рассказ. Жутью повеяло на окружающих от этих простых слов. Его обвинили в шпионаже. Он упорно отрицал свое преступление. Применяемые пытки не сломили стойкости духа.

Следователь в бешенстве. Ему надо во что бы то ни стало не отставать от других в выполнении плана.

Еле живому преступнику об’являют, что он обвиняется уже не в шпионаже, а в троцкизме.

Навряд ли бедняга вообще когда-нибудь слышал даже фамилию этого обанкротившегося политикана. Но, владея плохо русским языком, доведенный до отчаяния пытками, он подписал,

сам не понимая, документ, уличающий его в троцкизме.

Рассказ был очень краток и давал полное представление не только о жестокости следователя, но и о вероломной хитрости такового.

Мы все внимательно насторожились, когда он раскрыл рот:

– Мэнэ долга бил следователь по голова, лицо, спина и говорила – ты шп-пион, пиши бумажка.

Я ему гаварю: мая бумажка не пишет. Моя нет шпион.

Он еще бил и говорил: ты тросхист.

Моя опять говорил – не понимал, нет шпион.

Он даст бумажка и гаварит: ты тракторчи.

Моя очень обрадовалась, и я сказал: да, да, я тракторчи.

Он даст бумажку, повторяет – тракторчи – подпишись.

Я подписал, и больше меня не били.

Оказалось, что этот туркмен работал трактористом и весьма обрадовался, когда следователь, как ему показалось, наконец догадался об его профессии.

В протоколе было записано признание этого «закоренелого преступника» в троцкизме.

Конвейер делал свое дело. Перековка душ шла полным ходом. Ряды врагов народа росли, а с ними вместе росли и холмы над могилами невинно замученных людей.

Культура, в частности географические познания следователей, – доходила до курьезов.

Да и зачем им нужно знать географию. Они, подобно Митрофанушке из «Недоросля» Фонвизина, также заявляли:

– «Зачем нам учить географию, когда извощики должны знать, куда везти».

Для «Митрофанушек из Г.П.У.» географию с успехом заменяли плетка и кулак.

Один из моих соседей рассказал сценку, заставившую нас забыть на время жуткую обстановку и хохотать без конца.

Ему пред'явили обвинение в шпионаже, в начале – в пользу Японии, а затем – Ирана.

Он категорически отрицал.

Плеть, сапог и рукоятка пистолета делали свое дело, но преступник не сдавался.

Изобретательные следователи, наконец, всунули ему в рот шомпол и начали изображать пилу. При эхом двое тащили за концы шомпола, а третий с усилием сдавливал жертве челюсти.

Указанная операция, как видно, пришлась совсем не но душе моему знакомому, и последний, но выдержав, заявил, что он готов дать чистосердечное показание но своей шпионской работе.

Ему сейчас же дали бумагу и карандаш.

– Целые два часа, рассказывал он, я сочинил описание своей «преступной деятельности». Наконец надо было решить, и пользу какого же государства я шпионил?

И вот, минуту подумав и еще раз взглянув на плоско тупую физиономию итого «Митрофанушки», – твердо решил и написал:

– Работал по заданию контрразведки Сандвичевой республики.

Пусть, думаю, если мне не удастся дожить, то может быть какой-нибудь историк, разрывая архив, натолкнется на этот документ.

Таким образом я подписал протокол с признанием своей шпионской деятельности в пользу несуществующей республики.

Закончив сие сочинение, полное «искреннего раскаяния», подаю следователю. В голове мелькнула мысль:

– А вдруг он не такой дурак, как кажется, – и тогда Сандвичева республика обойдется мне весьма дорого.

Следователь, взяв бумагу, читает с довольной улыбкой написанную чепуху и дойдя, вероятно, до Сандвичевой республики, задумывается.

Чтобы спасти положение и сыграть на его самолюбии, я скромно заявляю:

– Эта республика находится в Южной Америке.

Бросив на меня презрительный взгляд, современный Паганель пробурчал:

– Не собираешься ли ты меня еще учить географии?

– Боже упаси, подумал я про себя, это как раз меньше всего входит в мои расчеты.

Русская пословица: «Лицо есть зеркало души» – вполне оправдалась. Физиономия следователя была отражением его внутреннего убожества. Меня это избавило от дальнейших сочинений и спасло жизнь.

Приняв подобающую позу, он уже бегло дочитал конец моей повести и заявил:

– Ну вот, надо было сразу сознаться в своих гнусных делах, тогда давно был бы уже в камере.

В общем, мы под конец остались оба довольны: он – моим искренним признанием, подтверждающим его безусловный талант, а я – своей вновь открытой мифической республикой и, главное, концом пыток.

Личное знакомство с конвейером

На втором месяце сидения пришла, наконец, очередь и за

мной. Часов в 11 вечера открывается форточка и голос надзирателя произносит:

– Мальцев есть?

Что то похолодело внутри, но стараюсь быть как можно спокойнее и отвечаю:

– Я.

Тот же голос об'явил:

– Одеться быстро.

Форточка захлопнулась. Сижу одетый. Несмотря на усилия, чувствую, как меня охватывает волнение.

Минут через 5 открывается дверь и раздается команда:

– Выходи!

Соседи провожают меня кивком головы. Выхожу в дверь и шагаю по узкому коридору с бесконечными номерами на дверях камер. Одни страж идет впереди, другой сзади.

Не успел сделать несколько шагов, как слышу голос идущего сзади:

– Руки назад!

Вспомнил, что об этом порядке мне говорили соседи но камере. Подчиняюсь и следую дальше.

Минуты через три мы стояли уже в коридоре здания Г.П.У. Мой страж постучал в одну из дверей и, скрывшись, через минуту вышел и приказал мне заходить.

Волнение нарастало. Вхожу.

На столом сидит следователь лет 25 с самодовольной физиономией. Зная заранее, что к столу следователя при допросе подходить не разрешается, остановился в ожидании у дверей. Следователь обращается ко мне достаточно вежливо, называя но имени и отчеству, хотя мы никогда друг друга не встречали.

– Итак, Виктор Иванович, надеюсь, вы в тюрьме уже познакомились со многими вещами, поэтому думаю, что в отношении вас, не придется применять крайних мер. Вы нам расскажете все откровенно.

Одновременно предлагает сесть за стол, стоящий в углу комнаты, на котором приготовлены бумага и карандаш.

– Вот, садитесь и искренно опишите все.

Я задаю невольно вопрос:

– О чем же мне писать?

Снова достаточно вежливый ответ:

– Ну, как – о чем! О всей вашей фашистско-шпионской работе.

Как будто по голове ударили молотом. Забыв все рассказы о конвейере, взбешенный, весь дрожа, я закричал:

– Как вы смеете говорить мне подобные вещи.

Выдержка следователя так же быстро исчезла, а с ней вместе и вежливый тон. Вскочив с места, он заорал в свою очередь:

– Так вот как ты, фашистская сволочь, начинаешь на меня еще кричать! Кто здесь следователь – ты или я?

Вероятно я посягнул на прерогативы, принадлежащие исключительно советскому следователю.

– Садись и пиши, иначе сейчас же познакомлю с каруселью.

Что такое карусель – я не совсем ясно себе представлял. Но злоба бушевала внутри моим. В этот момент я забыл все рассказы товарищей и ожидающую меня участь. Срывающимся голосом заявляю:

– Я уже знаю вашу карусель. Вам не удастся меня запугать, а сочинять на себя все равно ничего не буду.

Разговор был очень короткий.

– Не будешь. Ну и не надо, – идем.

Не успев ничего сообразить, я был втолкнут в комнату размером метров 25 – 30. В ней находилось человек двадцать. Одни сидели за большим столом и писали, другие стояли но стенкам, а часть лежала кучей в углу.

Молниеносно кто то сорвал с меня шубу и бросил на лежащих. Через секунду следователь надел на руки уже знакомые мне браслеты и без напускной вежливости, а привычным тоном площадной брани приказал встать в угол.

Наблюдал происходящее, начинаю понемногу соображать, что, вероятно, это и есть знаменитый конвейер. Внимательно изучаю окружающую обстановку.

Человек десять в наручниках и без таковых стояли в различных позах по стейкам комнаты. Одни держали руки вверх, другие соединены наручниками попарно, а третьи стояли на коленях. Это, вероятно, особо злостные преступники, упорно не желающие сознаваться в содеянных наступлениях.

За столом сидела группа в пять человек, скрипевшая карандашами но бумаге. Их лица выражали тоску и желание, как видно, придать большую правдоподобность своим новеллам. В углу лежали уже окончательно покаявшиеся в ожидании переброски в тюрьму.

Стою час, два, три. Никто не обращает внимания. Мой следователь куда то исчез, другие заняты своими жертвами. Каждый спешит выполнять заданно.

Только два дежурных следователя, сидящие за столом, все время наблюдают за точным выполнением назначенных каждому процедур.

Эта пара сменялась каждые шесть часов. Их же поднадзорные не выходили из этой комнаты иногда до 32 дней.

За этот период они должны были испытать все, что придумывала пылкая фантазии следователя. Часто он не соразмерял здоровья своего подшефного преступника и входил в раж, так что последнего уносили на кладбище без столь желанного покаяния.

Да, это и был тот самый конвейер, о котором ходили легенды среди заключенных. В каждом этаже, а их было три, – имелся свой конвейер.

Кроме того, имелись еще и специальные комнаты, стены и пол коих драпировались мягкими матрацами и коврами. Отсюда приводили особо злостных преступников на персональные пытки. Крики и стоны истязуемых замирали в звуконепроницаемых стенах, не мешая работать другим.

Продолжаю стоять в углу. Ноги начинают давать себя чувствовать. Но перед моими глазами мелькают буквально замученные тени, вероятно, испытывающие это удовольствие не одни уже сутки.

Некоторые еле держатся, ежеминутно тыкаясь головой в стенку, другие галлюцинируют, называя различные имена, вероятно, близких людей. Один незаметно, с исказившимся от боли лицом, стараются разорвать голенище сапог, сдавливающие, как обручами, опухшие ноги.

Следователи ежеминутно навешают комнату. Подходят к своим подшефным, а иногда и к первому попавшемуся под руку с вопросом:

– Ну, как, гад, все еще не хочешь сознаться.

За этим следует удар в лицо или пинок сапогом стоящего на коленях. Просматривают писанину сидящих за столом. Часто от всего сочинения летят клочки бумаги, а раз'яренный палач разражается площадной бранью и орет:

– Что же ты, сволочь, бумагу переводишь. Не знаешь, что ли, о чем надо писать. Иди, становись на колени, там, может быть, скорее припомнишь свои гнусные дела.

Неудачный сочинитель снова занимает место у стенки, радуясь полученной передышке и сравнительно благополучному концу своего повествования.

Наблюдая происходящее, замечаю, что сочинения преступников в большинстве не удовлетворяют следователей. Оказывается, к этой хитрости прибегают допрашиваемые с целью сделать хоть маленькую передышку и дать возможность отойти отекшим ногам или онемевшим рукам.

Измученные до крайнего предела заявляют своему иди дежурному следователю о желании дать показания. С них снимаются наручники и разрешается сесть за стол. Карандаши и

бумага к вашим услугам.

И вот, сидит «закоренелый преступник» и сочиняет всякую галиматью, всячески отдаляя момент проверки его трудов.

Наконец подходит следователь. Повторяется старая история. Площадная ругань, побои, наручники, и жертва возвращается в прежнее состояние.

Но тридцати – сорокаминутная передышка вполне стоила нескольких ударов.

Это дело я постиг очень быстро. К тому же ноги начали окончательно неметь. Не видя своего следователя, обращаюсь к дежурному с просьбой разрешить мне писать показание. Последний снял с меня наручники и я с великим наслаждением опустился на табуретку.

Прошло часа два, а моя новелла двигалась очень медленно и по содержанию но отвечала заданной теме.

Наконец появился мой следователь и, подойдя, злорадно заявил:

– Ну что, начинаешь писать? Но по вкусу пришлось великое стояние!

Но когда он взял мое сочинение и бегло пробежал написанное, бешенство и злоба появились на его лице.

Предварительно надев на мои руки наручники, он ударил меня по виску и заорал:

– Что же ты думаешь, фашистская сволочь, голову мне морочить, сидеть за столом и заниматься всякой … Подожди, сознаешься во всем, спешить некуда.

Последовало приказание встать снова в угол, по уже на колени с поднятыми вверх руками.

Так окончилась моя первая хитрость.

Приняв подобающую позу, с невольной завистью посмотрел я на оставшихся за столом сочинителей.

Наступил рассвет. Все тело ныло.

Пользуясь минутами, когда на тебя не устремлены глаза следователя, – присаживаюсь на секунду и спускаю руки. Спать совсем не хотелось. Нервы напряжены до крайности. В голове никаких мыслей, кроме одной: как бы незаметно от следователя и на минутку дать передышку онемевшим рукам и ногам.

На другой день на конвейер явился начальник особого отдела Глотов. С ним мне приходилось встречаться ранее по работе. Увидев меня, последний сделал удивленное лицо, как будто ему ничего неизвестно о моем аресте. Подойдя ближе, произнес:

– Кто это распорядился надеть наручники и поставить на колени.

Дежурный что то бессвязно пробормотал и, подойдя ко мне,

снял браслеты.

На минуту мелькнула мысль, что может быть Глотов действительно ничего но знал и беспристрастно разберется в моем деле. Но вся разыгранная сцена была ничем иным, как только другим приемом, преследующим одну и ту же цель.

Пригласив к себе в кабинет, последний начал в очень теплых тонах доказывать нецелесообразность запирательства и вытекающие из этого последствия.

Убедившись наконец, что я не соглашусь признаться в преступлениях, никогда мною не содеянных, вызвал следователя и, пошептавшись с ним, снова отправил меня на конвейер. Надежда на беспристрастный разбор моего дела окончательно исчезла.

Коли мне не удалось лицезреть наркома НКВД в день своего ареста, то это удовольствие я все же получил на конвейере. На другой день поздно вечером вдруг вваливается к нам в дверь здоровея туша, невольно напоминающая мясника. Это и был нарком Манаков.

Следователи, как и полагается, мол и попоено вытянулись перед своим обер-палачом. Последний был в сильно возбужденном состоянии, как видно самолично проведя одну из операций допроса под солидной порцией алкоголя. Пьяных следователей при допросах мы наблюдали неоднократно.

Обведя всех помутневшими от винных парой глазами, сей «высокий муж», не стесняясь своего сана, выпустил трехэтажное ругательство и заявил:

– Ну, как они тут у вас… сознаются?

Видя, что следователя не могут пока этим похвастаться, рассвирепев окончательно, ударил наотмашь первого попавшегося под руку, зарычав:

– До полного признания ни одного не выпускать живым.

Коротко и ясно. Комментарии не требовались.

Хлопнув дверью, этот апостол правосудия так же молниеносно исчез, как и появился.

Становилось очевидным, что в этом застенке не найдешь ни правды, ни пощады.

Невольно при виде всего происходящего в голове появляется мысль:

– Да кому же нужна в конце концов вся эта бессмысленная мясорубка? Кто в ней заинтересован? Кому нужны эти тысячи человеческих жертв, никогда не помышлявших о преступления?

Вероятно, все это происходило от излишней мудрости «самого мудрого среди народов», от боязни «родного» при виде «чрезмерной любви своих сыновей». Этот великий провидец

гениально предусматривал будущее, считаясь при жизни святым и непогрешимым. Его мудрые изречения становились лозунгами и миллионами пачкали заборы и стены.

На минуту невольно хочется сделать отступление от темы.

Набрасывая эти строки в городе Ялте, занятой германцами, услышал разрывы бомб, сброшенных с советских самолетов. Оказались убитыми десять мирных граждан.

Ну, как тут не вспомнить один из гениальных лозунгов:

– «Будем бить врага на его территории.»

«Мудрый отец» и здесь оказался прав. Не важно, что бьет он не врага, а своих бывших «детей», но зато на территории, занятой Германской Армией.

Нельзя обойти молчанием и роли женщин следователей. Последние вызывают даже не возмущение, а просто ужас своим человеческим падением.

Женщины, – да разве они имеют право носить это название. С понятием женщины невольно ассоциируется мягкость, доброта и материнская любовь. Нет, это какие то исчадия ада, фурии в юбках, еще более циничные, чем мужчины.

Мне пришлось наблюдать на конвейере трех жидовок следователей. Одна из них навела на меня ужас своими полными цинизма словами и движениями. Подойдя к одному стоявшему на коленях мужчине и, приняв позу публичной девки, с забористым площадным вступлением заявила:

– Ну, как, все еще ломаешься, строишь из себя … невинность. Твоя … оказалась более податливой и уже во всем созналась. Как видно, ты ее дома не приучил к плетке. Сразу заговорила, как только по ее белоснежной спине заходила нагайка.

Лицо стоявшего на коленях исказилось мукой, и он невольно сделал движение. В воздухе просвистела плеть – и с окровавленной щекой последний упал на пол.

К сожалению я забыл его фамилию, по специальности он был инженер и его арестовали вместе с женой. Несчастного приподняли ударом сапога, а садистка продолжала:

– А может быть хочешь посмотреть на свою возлюбленную. Идем, покажу. Она отдыхает после только что проведенной очередной операции. Немного туалет не в порядке, зато все прелести наружу. Впрочем, другие сумеют лучше оценить ее достоинства, – ты уже наверное привык.

И, обращаясь со смехом к следователям, приглашает последних полюбоваться замученным телом женщины. Двое молодцов, гогоча, уходят вместе с ней.

Благородные черты лица этого мученика застыли. Он точно окаменел. Только слезы, крупные слезы горечи и бессильной

ненависти к палачам текли из его глаз.

Завзятых садистов не удовлетворяли уже просто пытки и избиения. Таковые в поисках новых ощущений придумывали свежие номера своей программы.

Один из следователей, пресытившись всеми приемами палача, придумал особый способ разговора с подследственными. Будучи на дежурстве, последний однажды заявил:

– Ну, что мне с вами, сволочи, делать. Бить – руки устали, у сапог оторвал подошву, говорить – противно. Слушайте, что я придумал и исполняйте в точности. Непокорных забью до смерти.

– Как только придут другие следователи, я буду показывать нм свою школу дрессировки без слов. Быстрее, прохвосты, хорошенько запомните следующее:

– Ударю палкой по столу один раз, – всем немедленно становиться на колени.

– Ударю два раза, – быстро встать.

Было просто, ясно и понятно.

Утром входит очередная смена следователей. Здороваются и спрашивают, как дела. Наш изобретатель заявляет о своем новом способе разговора с этой «шпаной», делая жест в нашу сторону.

– Меня понимают без слов, торжественно об'являет он вновь пришедшим. В то же время палка ударяет один раз по столу.

Все немедленно опустились на колени. Следователи в восторге. Раздаются два удара. Моментально меняется поза, и все быстро встают на ноги.

Изобретатель гордо окидывает взглядом своих коллег, ожидая оценки. Последние чрезвычайно довольны и обещают внести некоторые добавления в это гениальное открытие.

Так добывались показания в шпионаже, вредительстве, терроре и прочих злодеяниях и преступлениях.

Враги народа, стоящие но углам в кандалах, были не кто иные, как самые скромные труженики, в большинстве интеллигенты – врачи, инженеры и профессора.

Что же заставляло всех этих людей переносить утонченные издевательства? Ведь надежды на спасение безусловно ни у кого не было. Почему же не броситься, хотя бы и в кандалах, на своих палачей и тем ускорить конец пыток.

Беседуя позже со многими на эту тему, я пришел к убеждению, что основными причинами были – во-первых – постепенное расслабление ваш, усугубляемое физическими пытками. «В здоровом теле – здоровый дух». Эта поговорка вполне подходила к данному моменту. Тела были замучены и искалечены, и дух в них еле теплился.

Но главной причиной, сдерживающей от последнего шага,

все-таки были мысли о родных, близких тебе людях. Каждый прекрасно знал, что если он позволит себе хотя бы на секунду вцепиться в следователя, то вместе с концом своих мучений он подвергает смертельной опасности и самых близких людей, возможно – живущих еще на воле.

Живо остался в памяти одни очень симпатичный старичок – преподаватель пения. Его стойкость, с которой он переносил все пытки, была поистине изумительной.

Вначале я недоумевал, почему следователь с особым наслаждением избивает этого скромного человека. Позже выяснилось, что в числе его учеников был и следователь.

Вероятно, обладая в совершенстве приемами палача, последний не отличался другими талантами.

Преподаватель пения, видя бесплодность своих усилий, однажды заявил своему ученику, что у него нет ни голоса, ни слуха и посоветовал бросить эту затею. Но следователь был совершенно иного мнения о своих способностях и усмотрел в данном заявлении что то подозрительное.

И вот, встретившись на конвейере, незадачливый певец, избивая своего учителя, заставлял последнего все время тянуть высокие ноты, заявляя при этом торжествующе:

– Ты, прохвост, хотел нарочно сорвать мне голос, ну, а я уже постараюсь перервать твой козлетон навсегда.

Не знаю, обвинялся ли он еще в чем-либо, но достаточно было и такого «жуткого преступления», как умышленный срыв голоса этой начинающей знаменитости.

Конец старичка мне неизвестен. Однажды, избитого до потери сознания, его унесли. Высокие ноты боли и отчаяния умолкли.

Среди допрашиваемых находился один почтовый служащий. На все избиения он неуклонно реагировал едкими репликами по адресу следователей.

Кто только на них не упражнял свои мускулы на этом, не совсем нормальном, преступнике!

Стоя в кандалах на коленях с поднятыми вверх руками, он, как правило, не обращая внимания на побои и ругань, преспокойно садился на пол и опускал руки.

Взбешенный следователь немедленно подбегал, и удары один за другим сыпались на голову несчастного. Но последний упорно не желал придать своему телу требуемую позу и продолжал сидеть.

На бессильные уже крики следователя стоять как следует, – спокойно и неизменно отвечал:

– Тоже герои. Несколько человек с револьверами бьете одного

со связанными руками.

– Эй, вы, храбрецы, попробуйте снять с меня наручники, тогда посмотрим.

Был он небольшого роста, но кряжистый, плотно скроенный человек, и чувствовалось, что при другой обстановке он разбросал бы этих дегенератов, как щенят.

Окончательно взбешенный следователь кричит старшему на конвейере арестанту – еврею:

– Рывкин, дай ты ему хорошенько по морде, чтобы он наконец заткнул глотку. Мне надоело пачкать руки об этого сумасшедшего.

В последнем следователь был прав. Его преступник действительно нуждался более в психиатрической помощи, чем в физическом воздействии. Но эта деталь никого из стражей правосудия не интересовала.

Старший но конвейеру арестант Рывкин пользовался особыми привилегиями. Его не били. Последний усердно выполнял задания следователей, в результате чего были арестованы десятки невинных людей.

Этот трусливый подхалим с готовностью направился к своей жертве и занес кулак для улара. Но в ту же секунду измученный физически и психически ненормальный человек вскочил на ноги и, несмотря на скованные руки, со всей силой ударил Рывкина в лицо. Вероятно даже истязания не отняли у него врожденной крепости мускулов, так как тщедушная фигура иудея отлетела метра на два и с окровавленной мордой упала на стол к следователю.

Произошло это так молниеносно и неожиданно, что растерялся даже дежурный страж. Затем последний мгновенно выбежал в коридор, и через несколько секунд вбежавшие человек десять следователей начали уже не пытку, а убийство больного человека с кандалами на руках. Когда человеческое тело представляло уже бесформенную массу, озверевшие храбрецы немного успокоились.

Грозящая опасность миновала. Не требовался больше и врач психиатр. Вошедшие надзирателя вынесли тело строптивого упрямца.

Стоящие по углям в различных позах преступники робко переглянулись и без всякой команды болев четко вытянули поднятые вверх руки – или от охватившего их ужаса, или же призывая Высшее Существо к возмездию над палачами.

Физически невозможно одному человеку описать картину издевательств, глумлений и пыток, коим подвергали невинных людей, не желающих раскаяться.

Но были преступники, также не совершившие никаких злодеяний, по перед ужасом пыток очень быстро сочинявшие требуемое признание. Следователи активно помогали им в редактировании показаний. Да и самые сочинения не отличались особой сложностью. Последние должны были содержать искреннее признание с обязательным указанием фамилии завербовавшего и длинным списком совращенных уже тобою граждан.

Иногда, не стесняясь нашим присутствием, следователь, подойдя к пишущему, заявлял:

– Чем больше укажешь тобой завербованных, тем лучше, но не менее пяти человек.

Подчас и сам указывал фамилию человека, который по каким то особым соображениям должен был быть в списке последних. Все это проделывалось с открытым цинизмом, и число арестованных с каждым днем росло.

Один туркмен рассказал позже, что он вынужден был завербовать всех своих знакомых, живущих с ним по одной улице. Но следователь настойчиво требовал еще. Не имея уже в памяти никого, он с грустью в голосе произнес:

– Пришлось указать на последнего – мужа своей дочери.

Некоторые на конвейере находились не более суток. Подписав показание, полное раскаяния в несовершенных преступлениях, с указанием завербованных, они уводились обратно в тюрьму. На другой день завербованные ими шпионы занимали место ушедших и также быстро исчезали, оставив список новых врагов народа, ходящих еще на воле.

Конвейер и тюрьма переполнялись. Геометрическая прогрессия дошла до головокружительных цифр. Увеличивался штат следователей. Срочно отстраивалась новая советская тюрьма. В ней мне позже пришлось просидеть пять месяцев в одиночке.

Великие лозунги претворялись в жизнь скоростными методами.

– «Тюрьмы и церкви сравняем с землей», – гласило одно из мудрых изречений.

От церквей действительно ничего не осталось, но зато старые царские тюрьмы не могли вместить всех верноподданных «родного папаши».

Здесь его щедрость была поистине отеческой. Новые тюрьмы украшали мрачными фасадами социалистическое строительство Советского Союза.

Но, о ужас! И этого скоростного строительства оказывалось недостаточно. Враги с каждым днем росли, как грибы.

И, наконец, «мудрый отец» в своем Гениальном предвидении почувствовал, что в недалеком будущем при взятых темпах очередь, вероятно, придет и за ним.

Врагов народа и просто ходящих на свободе людей оставалось совсем маловато.

Как всегда, «мудрость папаши» и здесь осталась непогрешимой, – козлом же отпущения сделался никчемный подставной болванчик – нарком НКВД – Г.П.У. – Ежов.

Правда, последний считался в свое время правой рукой «великого вождя народов». Но, как видно, лучше уж отрубить свою правую руку и сохранить мудрую голову на счастье потомству.

А счастья «родной отец» принес своим верноподданным так много, что о нем напишут историки целые фолианты. Только «исключительная гениальность вождя» могла создать настоящий советский рай. Нет в нем ни вздохов, ни печали – сплошь сияющие от радости лица.

На митингах и торжествах кругом возбужденные голоса кричат:

– Спасибо родному Сталину за счастливую жизнь!

А верные соратники «родного» из Г.П.У. тысячами снуют по толпе, беря на заметку граждан, без идиотски восторженной гримасы на лице скромно хлопающих в ладоши и недостаточно широко раскрывающих рот при криках:

– «Ура, родному!»

Несколько слов необходимо сказать о медперсонале конвейера и внутренней тюрьмы Г.П.У.

Не удивляйтесь, что здоровье врагов народа находилось под неусыпным наблюдением медицины и имелся штатный врач – еврей Ннкитченко.

Корпорация врачей с привитыми еще в школе гуманитарными взглядами на больного пациента, независимо от политической окраски последнего, конечно, может усумниться в нижеизложенном.

Не сомневайтесь и не возмущайтесь. В этой жизни всякое случается. В приведенном мною ниже эпизоде нет и капли преувеличения, а дана только маленькая деталь для характеристики многогранной работы этого «гуманиста» из НКВД.

Особо же сомневающихся не буду стараться убеждать, а отошлю к сидевшим вместе со мной профессорам Ашхабадского мединститута Дзиковскому, Витольду Адольфовичу и Парабочеву, Алексею Васильевичу. Они дополнят рядом эпизодов деятельность этой фигуры.

Парабочев к тому же являлся и директором мединститута, дипломом которого козырял Никитченко.

Возмущению и сомнению здесь не может быть места. А на законно возникший вопрос у многих честных врачей:

– «Как дошел ты до жизни такой?». – постараемся дать ответ.

Я уже ранее касался подбора младших тюремных кадров и их краткой характеристики. По аналогии с ними подбирались и медицинские работники.

Но, вероятно, трудновато было среди врачей найти подходящую кандидатуру, каковая, вместо врачевания, безошибочно определяла бы живучесть человеческого организма и возможность дальнейшего избиения. Прогноз должен быть безошибочным, чтобы жертва не могла отдать Богу душу без предварительного раскаяния в содеянных преступлениях.

Приходилось подобных работников готовить к новому виду медицины – врача-палача – со школьной скамьи.

Никитченко был до мединститута оперативным работником Г.П.У. Последний командируется на учебу. По секретной связи вслед за ним идет бумажка с указанием, что сей гражданин находится на особом положении и к нему не должен применяться общий метод в оценке его знаний.

Хозяева учитывали, что их будущему врачу меньше всего потребуется медицина. Свое же ремесло он постиг в совершенстве.

И вот новоиспеченный врач Никитченко сразу занимает высокую должность зав. санитарной частью Г.П.У. и тюрьмы.

Соблюдено внешнее приличие. Заключенных не только морально перевоспитывают по системе Г.П.У., делая из последних честных граждан СССР, но даже заботятся об их здоровье.

Ннкитченко, аккуратно выполняя свои обязанности, часто заглядывал на конвейер. Недоумение охватывало нас при виде всегда надетого на нем белого халата. Ведь эта спецовка, действительно, необходима врачу при его работе. Для выполнении же функций нашего доктора больше требовался красно-грязный балахон.

Этот врач никогда не появлялся на работу трезвым, а из всех снадобий, коими он усиленно пользовал своих пациентов, был единственно нашатырный спирт. Для конвейера чего-либо другого и не требовалось.

Однажды, войди к нам и поздоровавшись со следователями, он задает трафаретный вопрос:

– Как тут у вас дела?

Одни из палачей со злобным смехом отвечает:

– Посмотри, вот там одна сволочь лежит в углу, симулируя

смерть.

Никитченко тупым взглядом окидывает только что избитого до полусмерти преступника. Подходит ближе и с деловым видом щупает пульс, в то же время угощая жертву лошадиной порцией нашатырного спирта.

Полуживой человек начинает дергать головой и приоткрывает глаза.

Лицо доктора Никитченко важно и торжественно. Как будто он своими знаниями вернул человеку жизнь.

Послушав еще с секунду пульс и уже окончательно убедившись в чем то, ставит диагноз:

– Ничего страшного, можно еще.

После этого спокойно идет дальше. Впечатление такое, как будто бы тяжело больной поправился, кризис миновал и можно дать еще ранее прописанное лекарство.

Но диагноз Никитченко «можно еще» – означает, что человека забили еще не до смерти, и можно продолжать.

Так совместно с палачами-следователями подвизался и этот жрец науки, удлиняя мучения невинных людей.

Справедливость требует отметать работу других врачей и лекпомов в большой общей тюрьме. Несмотря на постоянный контроль за их действиями, последние были единственными людьми в этом мрачном мире, облегчающими наши страдания лекарствами, словами и улыбкой. За такое отношение и мы платили им искренней любовью.

За 22 дня моего пребывания на конвейере через эту комнату прошло несколько сот человек, С ними повторялось то же, что и с предыдущими.

Люди, боящиеся пыток и избиении, сознавались в несодеянных преступлениях и отправлялись в тюрьму в ожидании дальнейшей участи. Другие, более упорные, испытывали на себе все усовершенствования конвейера.

Не знаю, чем бы кончились мои сочинения, которые я начинал писать несколько раз с целью получить передышку. Последние, как правило, не отвечали заданной теме, и все повторялось сначала.

Неожиданно днем пришел усиленный конвой в почему то всех находящихся на конвейере начали срочно отправлять в тюрьму. Чем это было вызвано – для нас осталось неизвестным. Экстренная отправка в тюрьму многих избавила от продолжения пыток.

Трудно передать радостное волнение, охватившее меня при мысли, что я сейчас буду в своей камере. Не верилось в конец этого кошмара.

Камера № 11 тянула к себе, как родной дом с близкими людьми. В ней я уже мог поделиться своими переживаниями с окружающими, которым так понятно и близко твое состояние. Измученные нервы требовали хотя бы относительного покоя.

Что будет дальше – все равно. Хотелось уснуть и ни о чем не думать.

Снова открывается дверь камеры № 19. Вхожу с затаенным дыханием и надеждой увидеть своих друзей.

При моем появлении невольно все вскакивают и устремляют испытующий взгляд. Друзья по камере тепло окружают и осторожно спрашивают, как здоровье и все ли в порядке?

Вероятно от этого теплого человеческого отношения после пережитого ужаса, я чувствую спазмы в горле, и слезы радости неудержимо текут из глаз.

Часа через два, немного успокоившись, начинаю свой бесконечный рассказ о конвейере. Новички жадно ловят каждое слово, а побывавшие в этой мясорубке изредка вставляют возмущенные реплики.

Таким образом я стал полноправным гражданином своей камеры в ожидании дальнейшего вызова на конвейер или же приговора над нераскаившемся преступником.

Жизнь протекала знакомым, размеренным ритмом.

Разнообразно вносилось только вызовами на допросы, «ночной отправкой на луну», как в камере называли взятие людей на расстрел, и прибытием новых лиц с воли.

Недели через две после моего возвращении, забрали из камеры Александрова. Куда, зачем уходят люди – покрыто мраком неизвестности. Единственный критерий для догадок об ожидающей участи того или иного подсудимого – это время из'ятия из камеры.

Забираемые днем уводились или в большую городскую тюрьму или же в этапные маршруты Ночью же обычно вызывали на расстрел.

Проводы друзей в эти часы были особенно тяжелы. Когда открывалась форточка в час пли два ночи, и раздавалась к кому-либо команда «собраться с вещами». – всех охватывало жуткое чувство.

Человек нервно собирается. Некоторые стараются быть спокойными, с другими начинается истерика. Затем пожатие рук остающимся и единственная последняя просьба большинства:

– Может быть, товарищи, кто-либо из вас останется жив и выйдет на волю, – об одном только прошу: запомнить мой адрес и передать жене и детям, что их отец был честный человек и

умирает неизвестно за что.

Эти последние слова ударяли, как молотом по натянутым нервам, и многие остающиеся старались незаметно стряхнуть слезу. Уходящего убеждали, что вызывают, вероятно, не на расстрел, по чувствовалось, что в эти слова никто не верит.

При этом палачи везде, где только можно, применяли не скупясь и методы психологического воздействия. Расстрелять просто человека – это пустяк. Надо, чтобы все ежедневно чувствовали дыхание смерти. Этого они достигали с успехом.

Вместо вызова человека на расстрел по фамилии, тюремный комендант открывал форточку и, смотря на находящуюся в руках бумажку, – начинал по порядку тыкать пальцем в первого попавшегося, спрашивая:

– Твоя фамилия?

Арестант в сильном волнении отвечает – Иванов, Петров и т. д.

После каждой фамилии – длительная пауза и сличение ее со списком. Эта минута ожидания – страшная минута. Затем следует или:

– Соберись с вещами, или же палец надзирателя тычет в следующего с тем же вопросом:

– Твоя фамилия?

Лицо другого подсудимого принимает напряженное выражение, и последний ждет решения своей участи. Иногда таким путем опрашивалось человек десять, и каждый переживал в душе последние минуты.

Позже эту систему опроса отменили и вместо фамилий, вероятно для большей конспирации, каждого из нас занумеровали.

Человек перестал существовать, – имелся его личный номер. В большой тюрьме я имел № 3185, а с переводом во вновь отстроенную внутреннюю тюрьму – был за № 236.

Камера № 19 постоянно меняла свое лицо. Вслед за Александровым в дневное время взяли полковника Измайлова и ряд других. Взамен ушедших приходило новое пополнение.

Я. как уже имеющий стаж, посвящал новичков во все детали перековки душ и порядки тюремной жизни.

В первых числах мая, вечером открывается дверь в нашу камеру просовывают человека в чистом белом костюме я туфлях. Его опрятный вид наглядно показывает, что последний взят только что с волн и совершает свой первый ознакомительный путь.

В вошедшем я сразу узнал своего знакомого Коршунова. Но ему, как видно, было не до знакомых. Войдя в камеру, он бросил

дикий, испуганный взгляд на кучу валявшихся грязных тел, беспомощно опустился на пол и закрыл лицо руками.

Чувствуя его состояние, я сказал своим соседям, чтобы они не беспокоили новичка расспросами и дали бы человеку прийти в себя.

Прошло минут двадцать, а Коршунов, точно оцепенев, продолжал сидеть, не меняя позы. Наконец я подхожу к нему и говорю:

– Ну, довольно грустить. Здесь такие же люди, как и на воле, а может быть и более порядочные. Не думай, что тебя окружают шпионы, диверсанты, вредители и прочие.

Он как то дико посмотрел на меня и глухо произнес:

– А вы кто?

Я невольно улыбнулся и подумал про себя:

– Или он настолько подавлен всем происшедшим, что не узнает меня, а может быть мой вид действительно весьма отдаленно напоминает знакомые ему черты.

На его вопрос с улыбкой отвечаю:

– Ну посмотри внимательней, я полковник авиации Мальцев, а вот рядом сидят еще знакомые. Успокойся и расскажи, что делается на воле.

После более внимательного взгляда на меня, последний подает руку и начинает понемногу осваиваться. Мы ему порекомендовали немедленно снять шелковую белую рубашку и брюки и остаться в одних трусах, во избежание превращения в наших условиях белого цвета в черный. Весь вечер прошел в оживленных рассказах о последних новостях.

Из его слов можно было сделать вывод, что кампания по выкорчевке врагов народа достигла наивысшей точки. Масса знакомых, кои были на свободе еще перед моим арестом, также уже сидели в тюрьме.

Но там, за степами тюрьмы, никто абсолютно ничего не знал о творящейся инквизиции в застенках Г.П.У. и о том, как фабрикуются показания врагов народа.

Наконец, наговорившись обо всем, шутливо обращаюсь к Коршунову и говорю:

– Ну, знаешь что, – я уже имею большой опыт и стаж в дознавательских делах, а порядок нужен везде, в том числе и в нашей камере. Поэтому ты, как Коршунов, фамилия чисто русская, а фигура на общем фоне сравнительно незначительная, – будешь у меня зачислен в списки вредителей. Это самое легкое обвинение. Поэтому иди, ложись около той стенки и не пытайся возражать против присвоенной тебе категории вредителя и указанного места. У других стопок лежат более солидные

преступники. Вот, например, расположена теплая компания фашистов и шпионов, далее – направо – диверсанты и террористы, здесь – вредители, и около самой двери – антисоветчики. Последние занимают площадь по уплотненной норме, как самые младшие члены данной семьи.

Коршунов, уже достаточно оправившийся от первого впечатления, произнес:

– Ну, уж ты меня извини, но вредителем я никогда не был и не буду. Всем вашим рассказам я не особенно верю и думаю, что на днях недоразумение выяснится и я себя реабилитирую полностью.

Разубеждать его не было смысла. Дней через десять он сам убедился в правильности моего прогноза, когда избитого, всего в синяках, его втолкнули в камеру. Отделался он быстро и пустяками. Кости были все на месте, и на мой шутливый вопрос:

– Ну, как, правильно – вредитель?

Также с кислой усмешкой ответил:

– Представь себе, ты был прав. Оказался вредителем, сам не подозревая этого за собой.

Несмотря на безропотность, полный террор населения и его наивную веру в справедливость всех проводимых мероприятий, – все же Г.П.У. рядом провокационных слухов старалось обосновать массовые аресты в глазах населения.

Коршунов рассказал, что накануне первого мая в Ашхабаде было одновременно арестовано 28 человек, – летчиков, авиационных инженеров и техников.

При этом по городу ходили упорные слухи, что эта группа лиц, желая отомстить за арест своего начальника, т.е. меня, – решила в день первомайских торжеств бросить бомбы на демонстрацию и улететь в Иран.

Как видно, заправилы из Г.П.У. даже не старались утруждать свои убогие мозги сочиненном более правдоподобной провокации. Их наглость не знала границ, а обыватель, этот политический слепец, верил всему.

Коршунов рассказывал, с каким негодованием эту небылицу передавали жители, заявляя:

– Нет!, вы только подумайте, какой ужас! Сколько было бы невинных жертв! В клочья разорвать мало этих негодяев. Спасибо наркому Ежову и его сотрудникам, раскрывшим своевременно подлую банду.

Эти люди наивно верили в сотканную белыми нитками грубую провокацию, не задаваясь даже простым вопросом:

– А где же в конце концов гражданские летчики возьмут бомбы, и как можно последние бросать с пассажирских

самолетов?

Большинство гражданских пилотов даже не видели никогда авиабомб.

Инициаторы этой гнусной провокация из Г.И.У. ходят, потирая от удовольствия руки.

Ночью же в застенках, пытая летчиков и инженеров, с самым серьезным видом выколачивают из последних показания о предполагавшейся якобы бомбежке демонстрации.

Этот рассказ Коршунова открыл мне глаза на ряд странных явлений, имевших место в работе подведомственных подразделений в последний период перед моим арестом.

В отрядах подобраны хорошие летчики, инженеры, техники. И целом весь воздушный флот Туркменской республики по работе занял первое место в Союзе.

Специалисты безукоризненно работали по пять, восемь, десять лет. Многие имели награды и поощрения.

Но вот наступает вторая половина 1937 года. Что-то странное и непонятное происходит с моторами и самолетами. Чуть ли не ежедневно докладывают:

– В авиабригаде такой-то, при установке мотора на самолет, в цилиндре обнаружена посторонняя гайка или оказались расконтренными основные детали самолета перед вылетом последнего в рейс.

Немедленно выезжаю на место происшествия и произвожу лично дознание.

Люди в бригадах старые, работали все время безупречно.

Становлюсь в тупик. В чем дело?

Инженеры и техники, имея очень расстроенный вид, беспомощно разводят руками.

Факт вредительства налицо. Но кто же этим занимается?

Подобные явления начали повторятся все чаще и чаще. Найти виновных не удается. Специалисты выбиваются из сил, подчас оставаясь дежурить в мастерских на ночь. Не верить им не могу.

На фоне этого вредительства Г.П.У. производит массовые аресты лучших работников, коих менее всего я мог в этом заподозрить.

Но оказалось, что истинная причина вредительства была хорошо известна работникам Г.П.У., так как никто другой, как они сами, через своих сексотов были организаторами этого преступления.

Последние безнаказанно бросали в моторы гайки и шайбы, а их хозяева пожинали лавры славы разоблачителей, одновременно оправдывая в глазах общественности массовые аресты честных специалистов.

Благодаря этой разрушительной работе воздушный флот Туркмении из мощной передовой организации уже к концу 1938 года превратился в собрание никчемных, склочных людей с окончательно разрушенным самолетным парком.

Лучшие люди арестованы, воздушный Флот развален, инициаторы получили повышения и ордена – цель достигнута.

Все эти преступные провокации могли широко культивироваться в обстановке террора, созданного «мудрым отцом». отделившимся от «безгранично любящих его детей» сплошной стеной агентов Г.П.У.

Подхалимство и неприкрытая лесть, выросли в культ и заменяли деловые качества честных людей

Густая сеть сексотов Г.П.У. окутывало паутиной всю страну. Вся эта армия, состоящая из отбросов и не умеющая честно зарабатывать кусок хлеба, меньше всего, как и их хозяева, интересовалась выявлением настоящих преступников.

Самое беззастенчивое сведение личных счетов, особенно в отношении строгих и справедливых начальников, свило себе пышное гнездо. Специалист, честно работающий, задыхался в этой насыщенной подхалимством обстановке.

Ответственные посты давались тем, кто нелегально работал и доносил всякие вымыслы в Г.П.У.

Появился новый сорт узаконенных лодырей, называемых «активистами». От них не требовалось не только знания дела, но даже «элементарной честности».

Достаточно на каждом собрании, бить себя в грудь, надрывно кричать:

– Товарищи, не забывайте, что и здесь, среди сидящих, притаились враги народа. Бдительность и еще раз бдительность! Берите под подозрение всех людей не чисто пролетарского происхождения, смотрите зорко за интеллигентами, умейте читать их мысли под шляпой.

– Ну, а в общем – да здравствует наш любимый, родной, единственный, самый мудрый товарищ Сталин. – ура!

Наконец я благополучно досидел в камере № 19 до 30 июля 1938 года. Вызовов на допросы не было. Вероятно, конвейер, несмотря на все увеличивающуюся пропускную способность, все же не справлялся с поступающими преступниками.

Днем 30 июля открывается форточка и голос надзирателя произносит:

– Мальцев есть? –

Отвечаю – я.

– Панкратов есть?

Мой первый сосед по камере № 23, немного побледней,

отвечает также. Голос надзирателя произносит:

– Соберись быстро с вещами.

Пришло время расставаться с камерой № 19, из которой я был взят на конвейер, открывший мне окончательно глаза на оборотную сторону медали советской демократии.

Собрав свои пожитки, ждем тюремного надзирателя. Самочувствие спокойное. Днем на расстрел не уводят. Делаем догадки – куда нас повезут?

Наконец открывается дверь и мы последний раз кивком головы прощаемся с остающимися. Выйдя во двор, нас подвели к «черному ворону». Так среди арестантов называлась тюремная автомашина, имеющая восемь клеток без света и воздуха.

Каждое гнездо нормально рассчитано на сиденье одного человека. Но вероятно отправляемая партия была достаточно большой и, в целях экономии бензина, нас с полковником Панкратовым начали засовывать в одну клетку.

Операция эта оказалась далеко не из легких, так как мой сосед имел весьма внушительную фигуру, а я до тюрьмы также весил 90 килограмм.

После ожесточенных усилий и ругани стражи, последним все же удалось вдавить нас и захлопнуть дверцу на автоматический замок.

Мой сосед буквально врос в меня, и я не мог шевельнуть ни одним пальцем.

Процедура заполнения других клеток продолжалась минут десять. При этом соблюдались строжайшая конспирация. Никто из нас не должен был знать и видеть сидящих в соседних купе.

Температура в Средней Азии в эти месяцы доходит до 70°. Наша клетка, герметически закрытая, обитая вся железом и без единого отверстия, превратилась в настоящий крематорий.

Я начал буквально задыхаться. Вероятно, не лучше обстояло дело я с самочувствием Панкратова. Обливаясь потом и жадно ловя раскрытым ртом воздух, делаю нечеловеческие усилия повернуться.

Вдруг звякнул автоматический замок дверцы и последняя с силой сорвалась со своего места.

Сразу стало легко дышать. Но на звук немедленно прибежали привратники и с площадной бранью снова начали нас утрясать.

Несмотря на всю их энергию, попытка защелкнуть замок оказалась бесполезной. К нашему счастью последний был основательно испорчен и не хотел запираться. Оставалось нас или высадить, или же везти с приоткрытой дверцей, выходящей в узкий проход посредине автомобиля.

Посоветовавшись между собой, стража, как видно, решила

последнее. И вот мы глотаем хотя и горячий, по все же воздух, чувствуя себя счастливцами по сравнению с соседями других клеток.

Много ли надо для счастья «свободному советскому гражданину»? Я уже весело шепчу на ухо Панкратову:

– А ведь дышать-то действительно стало вольно и шепотом снова напеваю:

– «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…»

Минут через десять клетки заполнились, и наш «Черный ворон», издав глухой рев, двинулся в неизвестность.

Ориентироваться в маршруте приходилось по памяти. Зная хорошо расположение улиц, я начал делать вывод, что нас везут в направлении вокзала. Вероятно, предстоит путь по железной дороге. Если же автомобиль проедет дальше, наше путешествие окончится переброской в большую городскую тюрьму.

Запутавшись наконец в поворотах машины, я потерял всякую ориентировку.

Но вот автомобиль остановился, дал сигнал, и мы услышали голоса, скрип открываемых ворот. Сомнений больше не было: нас привезли на новую квартиру – в городскую тюрьму.

Процедура высадки также сопровождалась необходимой конспирацией. Наконец дошла очередь и до нашей клетки.

При выходе из «Черного ворона», перед нами открылся вид обширного тюремного двора с основным каменным корпусом и временными дощатыми бараками. Все это социалистическое и скоростное строительство обнесено было высокой стеной с рядом сторожевых вышек.

При виде наскоро сколоченных бараков, где сидело несколько тысяч человек, невольно вспомнилось одно из мудрых изречений «папаши»:

> – «В основном социализм в СССР построен. Создано бесклассовое общество, и локомотив революции на полных парах мчится к коммунизму».

Среди скоростных социалистических барачных строек скромно терялась старая царская тюрьма. В голове невольно промелькнула мысль:

– Так вот что такое построение социализма.

– Это дощатые бараки с сидящими в них тысячами бесклассовых людей.

Теория резко расходилась с практикой.

Ну, а что получится, когда локомотив доберется до полного коммунизма?

Вероятно, по идее «мудрого отца», это будет сплошной деревянный сарай в масштабе СССР, обнесенный глубоким рвом и колючей проволокой. В нем то бесклассовые советские граждане и должны получить наслаждение всеми дарованными свободами «самой демократической конституции в мире».

Но раздумывать на эту тему было некогда. Теоретические проблемы отодвигались на задний план. Голос надзирателя вывел меня из созерцательного состояния, пробудив к реальной действительности.

Не успел я себе ясно представить в уме жизнь коммунистического общества, как услышал окрик:

– Эй, вы, шпана, заснули, что ли? Быстро за мной!

Быстрота в тюрьме действительно требовалась невероятная, так как во время нашего путешествия по двору все остальные арестанты должны сидеть но местам. Встреч никаких не допускалось.

Иногда случались и неувязки в этом обширном хозяйстве. Одновременно с различных сторон появлялись встречные потоки арестантов. В этих случаях обычно слышался забористый мат и команда:

– Стой! повернись кругом!

Вслед за этим начиналась горячая перебранка стражи, в результате каковой одну из групп заводили в укрытое место. Пробка рассасывалась и движение продолжалось.

Пройдя быстрым шагом до основного корпуса тюрьмы, нас на минуту остановили в вестибюле. Затем страж приказал Панкратову следовать за ним. Последний кивнул на прощанье головой и исчез за поворотом.

Что стало с этим скромным, сравнительно недалеким человеком, но зато лихим рубакой, для меня осталось неизвестным.

Через минуту тюремный надзиратель повел и меня но узкому коридору. Команда – «Стой!»

Передо мной скрипят засовы камеры № 11.

Невольно пробегает мысль, как то встретит меня новая квартира и кого из знакомых увижу на своем новоселья?

Дверь открывается и я переступаю порог уже третьего жилища.

Камера № 11

Моим глазам представилась полутемная комната, размером метров 35. В сплошном пару стояли и сидели полуголые люди. Разобрать что-либо, войдя со света, было невозможно.

Невольно остановился у двери. Глаза старожилов камеры, как видно, привыкли к постоянному полумраку, и я услышал несколько приветствий по своему адресу.

Быстро оправившись от первого впечатления, шутливо заявляю:

– Мне сказали, что эта камера самая комфортабельная, поэтому принимайте нового жильца.

Состав камеры был чрезвычайно разнообразный и для характеристики сидящих в этой комнате 109 человек потребовался бы специальный том.

В образовавшемся вокруг меня тесном кольце вижу ряд знакомых лиц и начинаю свое повествование об известных мне новостях.

Наговорившись вдоволь и узнав массу интересного от своих собратьев, пришел к убеждению, что и в этих условиях жить можно. От окружающей массы людей становилось как то легче и спокойнее на душе.

Оправдывалась русская пословица: «На миру и смерть красна».

Часа через два открылась дверь и в камеру вкатили бочку с горячей водой, что должно было изображать вечерний чай. Не получая передачи, естественно, я не имел никаких запасов и необходимого арестантского инвентаря, как-то: ложки, кружки и проч. Арестанты быстро бросаются к бочке, стараясь побольше набрать воды.

В этот момент подходит ко мне весьма солидная фигура и произносит:

– Разрешите познакомиться, – профессор Дзиконский. Знал вас до тюрьмы, хотя, к сожалению, не был знаком официально. Чувствую, что у вас с хозяйственными вопросами не все в порядке.

Прошу присоединиться к нашей кампании и давайте пить чай.

Я поблагодарил за такую любезность и не замедлил из’явить свое согласие.

Через минуту у меня была кружка с кипятком, а соседи любезно угощали хлебом. Настроение улучшилось.

Выпив кружку «чая», начал рассказывать уже в более

интимной обстановке различные эпизоды и окончательно сблизился со своими новыми соседями.

Конец вечера пролетел незаметно. В 10 часов полается сигнал отбоя и все укладываются спать.

Эта процедура протекала с относительными удобствами, учитывая размещение 109 человек на площади пола в 35 квадратных метров. При подобном размещении приходилось решать более сложную задачу, чем уравнение с многими неизвестными.

Но в любой обстановке человек находит выход. Был и здесь установлен строжайший порядок.

Во первых, свято хранилось старшинство, исчисляемое датой прибытия арестанта и данную камеру. Самый старый выбирал себе лучшее место на полу, а затем по рангам размещались остальные

Исключение представлял только староста камеры. Последний выбирался открытым голосованием без всяких таинств. Конечно, подобные выборы противоречили сталинской конституции, но зато здесь не было боязни, подхалимства и хлопанья в ладоши.

В камере № 19 я был сам старостой, по здесь пришлось стажироваться сначала и подчиняться установленному традицией порядку. Поэтому мне, как новичку, учитывая ограниченную жилплощадь, пришлось устраиваться спать на параше. Этим именем арестанты любовно величали бочку для оправки.

Первая ночь была не из приятных. Сижу на крышке параши и от усталости ежеминутно тыкаюсь носом в пространство. Ко всему этому тебя беспрестанно сгоняют и с этого не совсем комфортабельного места. За ночь проходит целая вереница арестантов, нетерпеливо желающих познакомиться с парашей. Утром чувствовал себя окончательно разбитым.

Но, представьте, в дальнейшем прекрасно приспособился и спал целыми ночами сном праведника. Для этого надо было подремать на параше часок, другой, а затем, когда вся честная кампания в живописно разбросанных позах издавала многоголосый храп, незаметно сползти и прямо ложиться на ноги своим соседям.

В первые ночи без привычки приходилось иногда просыпаться. Конечно, не от запаха – на это орган обоняния, к счастью, давно перестал реагировать. Беспокоила непривычная сырость под боком. Но, как оказалось, можно привыкнуть и к этому. Дня через три я уже крепко спал, не обращая внимания на вытекающую через край параши жидкость.

Ночные посетители, не имея сил ждать утренней оправки, продолжали по очереди заполнять, до краев уже полный сосуд.

На этом почетном месте мне пришлось пролежать дней семь. Люди в камере менялись. На смену ушедшим старикам прибывали новые. В порядке старшинства я шаг за шагом все отдалялся от этого милого сосуда.

Отодвинувшись метра на два, я уже чувствовал себя совсем великолепно, хотя занимаемая жилплощадь исчислялась возможностью лежать только на боку с поджатыми ногами.

Пожалуй, вопрос ночного размещения был самым трудным и больным. Предлагались и проводились в жизнь различные варианты. Одни из таковых – это сон в две очереди: половина жильцов с относительными удобствами располагалась на полу. Остальные должны были стоить, ожидая своего часа. Практика показала нежизненность и утомительность подобного чередования. Стоять на ногах полночи немногие могли и, несмотря на постоянно наблюдавшего за порядком дежурного, незаметно опускались на пол и сантиметр за сантиметром упорно отвоевывали территорию у более слабых.

Наконец решено было спать всем одновременно. Для этого с математической точностью измерили пол камеры, и оказалось возможным уложить всех при условии укладки арестантов на бок вплотную с обязательно поджатыми ногами.

По длине приходилось на каждый ряд не больше метра расстояния. Представьте себе, получилось совсем недурно, а с точки зрения симметрии даже живописно. Лежат, подобно шпротам в банке, все на одном боку с поджатыми под подбородок ногами.

Переворачиваться на другой бок разрешалось по общей команде дежурного. Последнему приходилось прибегать и к насильственному переворачиванию особо беспечных арестантов, не слышащих в гладком сне команды.

Конечно, симметрия несколько нарушалась. Чьи-нибудь длинные ноги, не считаясь с положенной нормой, заезжали во сне под нос соседу следующего ряда.

Слышались крепкие слона но адресу обладателя длинных конечностей и снова водворялся порядок. Но иногда страсти разгорались, ноги окончательно перепутывались и требовалось вмешательство старосты для наведения должного порядка и окончательного выявления принадлежности тех или иных ног их владельцам.

Старосте полагалось лучшее место в камере, обычно летом – около окна, а зимой – подальше в углу, где потеплее.

Руководил он своим коллективом единолично, без комиссаров и партийно-профессиональных организаций. Представьте себе, присмотрясь к этому камерному единоначалию,

я уже в то время начал сомневаться и полезности подобных надстроек, разлагающих обычно на воле работу и порождающих склоку.

Месяца через два вызвали с вещами нашего старосту. Предстояли выборы нового. К этому времени я завоевал себе уже достаточный авторитет. Ко мне обращались со всякого рода спорными вопросами. Приходилось частенько брать под свою защиту более слабого, не давал торжествовать грубой физической силе.

В результате волеиз'явления арестантов я был удостоен чести выбора старостой. Моя первая тронная речь была очень коротка:

– Товарищи враги народа, благодарю за оказанное доверие и требую абсолютного порядка и полного подчинения.

Руководя в новой высокой роли камерой и разбирая ежедневно десятки мелких обид и вопросов, невольно приходилось более близко сталкиваться с внутренним содержанием этих людей. Изучение последних в тюрьме значительно упрощалось по сравнению с волей.

С человека сорвали его внешнюю оболочку, лишили звания и занимаемого положения. И вот тут, как никогда, ярко выявляется его внутренний духовный облик.

Ряд людей показывал высокие образцы моральной силы, мужества и благородства. Другие, сняв маску, обнажали свой животный эгоизм и злобную тупость. Особо этими качествами отличались сидевшие и камере шесть наркомов. Отсутствие товарищеской солидарности, глубокий эгоизм, продажность, абсолютная беспринципность и потеря человеческого достоинства были их отличительными чертами. Эти люди, когда-то занимавшие наркомовские посты и руководившие миллионами граждан, были просто отвратительны в своей неприкрытой духовной наготе.

Кусок черствого хлеба часто являлся поводом к драке между идейными вождями, строящими коммунизм.

Обычно утром приносят хлеб по количеству сидящих в камере. Мне, как старосте, полагалось таковой по счету принять и раздать. Но вся беда в том, что среди сотни кусков, сравнительно равномерно распределенных, попадались горбушки и серединки. Так как порция хлеба была далеко недостаточной, то каждому казалось, что в горбушке как будто бы больше с'едобного, чем в серединке. Поэтому приходилось и здесь завести строжайший учет, соблюдая чередование в получении горбушек и серединок.

Сидящие в камере профессора и инженерно-технический состав никогда не поднимали вопроси о неправильном распределении. Но зато вожди коммунизма – наркомы нередко

доходили до драки в желании отнять друг у друга горбушку.

Частенько из наркомовского угла раздавался визгливый писк с просьбой о помощи. Здоровый вождь злобно сдавливает пальцами горло своему слабому собрату и вырывает у последнего его горбушку. Хозяин лакомого куска, задыхаясь, пищит:

– Староста, помогите, почему так, ему вчера горбушка и сегодня, а мне опять мякиш.

– Староста, помогите, – раздается уже совсем слабый писк, – он меня задушит.

Наблюдая эту отвратительную сцену, кричу:

– Наркомы, замолчать! Сейчас приду и разберусь, кому что положено, а пока прекратить бандитизм и немедленно убрать руки от горла.

Но победитель в ярости продолжает расправу над своей жертвой.

Меня охватывает бешенство. Подбегаю к этому животному, хватаю его за воротник и, вытряхивая с силой из наркомовской головы убогие мозги, заявляю:

– Немедленно руки прочь и отдать горбушку хозяину.

С исказившимся от бессильной злобы лицом, последний выпускает из рук своего пискливого коллегу.

К подобному усмирению приходилось прибегать только в отношении небольшой группы этих полуживотных. Среди остальных членов камеры установились хорошие, корректные взаимоотношения, и последние совсем не нуждались в окриках или угрозах.

Профессор Дзинковский буквально принял надо мною шефство. Получая регулярно передачи, он меня систематически подкармливал. Но нужно было по натуре быть вышеописанным наркомом, чтобы без конца пользоваться его любезностью. Я прекрасно чувствовал, что он сам, если не голодает, то во всяком случае, далеко не сыт. Поэтому не хватало совести пользоваться его гостеприимством.

Скушав обычно маленький кусочек, благодарю и заявляю, что я уже сыт. Оба мы прекрасно понимаем, что без ущерба для здоровья могли бы с’есть все его запасы сразу.

Наконец, видя мою деликатность в этом вопросе, последний однажды заявляет:

– Вот что, Виктор Иванович, с вами весьма трудно вести общее хозяйство, поэтому я решил вас выделить.

Одновременно дает мне два мешочка для продуктов и 25 рублей денег. Эта сумма в наших условиях была весьма солидной. На 25 рублей можно купить в тюремном ларьке 30 килограмм хлеба или равноценный ассортимент других товаров. При чем

более 50 рублей арестанту передавать не разрешалось.

Несмотря на мои отказы, профессор властно настоял на своем. И вот, представьте, у меня 25 рублей. Я богат, как Крез. Вероятно современные Ротшильды никогда не чувствовали себя такими капиталистами.

Передо мной открывались уже заманчивые хлебночесночные перспективы. А сознание, что я могу купить все по своему желанию, радостно волновало голову.

Но в камере были и другие обездоленные, также без денег и белья. Между ними особенно выделялся своей стойкостью и благородством характера Маевский, Леопольд Альбинович. Высоко образованный человек, чрезвычайно скромный, он буквально голодал, деликатно отказываясь от помощи. В то же время ему больше, чем кому-либо, требовалось усиленное питание.

Пришел он к нам в камеру из тюремной больницы на двух костылях с криво сросшимися кое-как костями ног и поврежденным позвоночником. Как видно, от сильной потерн крови вид его был мертвенно-бледный. Каждое движение доставляло последнему страшную боль. Создать же спокойную обстановку в камере было абсолютно невозможно.

Ни одной жалобы, ни единого стона от боли, причиняемой невольными толчками соседей ночью, не подал этот мужественный человек.

Рассказ его был очень краток и для нас не являлся новостью.

Сознаваться в несодеянных преступлениях Маевский упорно не желал. Палачи регулярно день за днем его избивали. И вот, улучив момент, этот страдалец подбегает к окну (в то время решеток еще не было) и выбрасывается из третьего этажа в расчете раз навсегда покончить с советским земным раем.

Получив еще несколько ударов прикладом винтовки от подбежавшего часового, Маевский попадает в «Черный ворон», затем его отправляют в тюремную больницу. Умирать же, как видно, послали в нашу камеру:

Будучи обладателем 25 рублей, я подхожу к нему и заявляю:

– Ну, Леопольд Альбинович, давайте кутить. Я стал богат, как в сказке.

Одновременно предлагаю ему до лучших времен, на каковые мы не питали никаких надежд, взаимообразно 10 рублей.

После долгих отказов пришлось мне, как старосте, просто приказать взять деньги и купить хлеба. Блеснули слезы, и дрожащий голос произнес:

– Виктор Иванович, я знаю цену этим десяти рублям и никогда их не забуду.

Я в ответ шучу, что получил целые 25 рублей и уже забыл. Действительно, до сих пор я так и остался должен профессору Дзиневскому 25 рублей.

Маевский, сидя в тюрьме в течение уже восьми месяцев, не имел ни одной передачи, что еще более ухудшало его моральное состояние. Отсутствие передач являлось обычно признаком ареста и семьи. Но дней через пять после получения нашего богатства, открывается тюремная форточка, и раздается голос:

– Староста, получай для камеры передачи.

Идет перечень фамилий, коим обычно передавали раньше, но вдруг слышу из уст надзирателя:

– Маевский!

Я так обрадовался, как будто бы это была мои фамилия, и сразу крикнул:

– Леопольд Альбинович, вам передача!

Нервы последнего не выдержали, и этот мужественный человек забился в истерике. Дав ему успокоиться, передаю две пары белья, одеяло и 50 рублей денег. Надо было видеть лицо Маевского при виде, вещей, переданных близкими людьми, которых он считал уже погибшими.

Придя окончательно в себя, он подходит ко мне и передает 10 рублей, добавляет пару белья и еще пять рублей. Я отказываюсь и в шутку заявляю:

– Да что же вы, Леопольд Альбинович, считаете меня за старого жида ростовщика, что ли?

Но взять все же пришлось.

С легкой руки профессора Дзинковского и Маевского, у меня началось социалистическое накопление и, без шуток говоря, вышел я из тюрьмы, имея 2 пары приличного белья, не считая истлевших. Рубашку же профессора Парабочева, подаренную мне позже, ношу и до настоящего дня.

От высокой температуры, отсутствия воздуха, воды и питания, при феноменальной скученности, – у людей начались повальные фурункулы и колючка (так называлась зудящая красная сыпь по всему телу).

Десны кровоточили. Недобитые зубы вываливались без помощи зубного врача.

По количеству фурункулов, помню, побил рекорд профессор Дзиковский. На его солидном теле мы насчитали их 57 штук. Ходил он, как нахохлившаяся наседка, расставив руки и ноги, чтобы не растирать эти милые создания.

Наконец даже и тюремное начальство обратило внимание на высокую смертность, не считая самоубийств, каковые все же ухитрялись учинять над собой некоторые арестанты.

Одни архитектор, очень спокойный и милый старичок, сумел распустить носок и из полученных ниток скрутить шпагат достаточной прочности, чтобы задохнуться. Эту операцию он проделал с исключительным мастерством.

Я не мог себе представить, чтобы человек сумел себя задушить лежа. Сделав петлю и зацепив скрученный шпагат другим концом за штырь в стене, он сумел ускользнуть от рук советского правосудия.

Вероятно, по специальному докладу высшему начальству и с разрешения последнего однажды принесли в камеру чеснок. Это первый раз нас побаловали таким деликатесом. Я распределил лакомство с математической точностью и роздал арестантам.

Нужно было вплоть в эту минуту их растроганные лица, без слов выражавшие умиление и восторг, и слышать, как чавкающие уста вместе с чесночным запахом восторженно шептали:

– «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь.»

Через некоторое время пришлось назначить себе помощника по хозяйственным вопросам. Эта должность не выбиралась, а назначалась. Мой выбор пал на бывшего князя Оболенского, Леонида Леонидовича, до тюрьмы работавшего кинорежиссером. Не знаю, какой из него был режиссер, но начхоз оказался великолепный.

Обвинялся он в шпионаже. Истинная же причина ареста была и его княжеском происхождении, хотя дед Оболенского и был лишен княжеского звания за участие в восстании декабристов. Бедняге было вдвойне обидно: царь лишил деда княжеского титула, а «мудрый папаша» посадил внука за голубую кровь. Бывают же такие неудачники в жизни!

Высококультурный человек с товарищеским характером, он скрашивал многие часы однообразной тюремной жизни. Будучи талантливым мастером слова, Леонид Леонидович систематически проводил художественные рассказы. Его пересказ Гобсека (сочинение Бальзака) до сих пор вспоминаю с наслаждением. Беседовать с ним на различные темы доставляло большое удовольствие.

Наряду с высококультурными людьми, в камере была небольшая группа, которой мы дали кличку – «штампованных узколобых коммунистов». Ее вожди – зав. отделом Ц. К. Туркмении Киселев и начальник политуправлении железной дороги Демидов.

Эти патентованные ублюдки даже и в тюрьме держались особо бдительно, считая себя невинно пострадавшими жертвами, а всех остальных – бесспорными преступниками и идеологически чуждыми людьми. В последнем они были правы, так как

идеология большинства сидевших в камере резко отличалась от этих примитивных коммунистов.

Знакомясь ближе с людьми камеры и слушая их рассказы, приходилось буквально поражаться грубой работе следователей, дошедших в своем цинизме до крайних пределов. Они не старались затруднять свои «гениальные» мозги созданием хотя бы немного правдоподобной провокации.

Обвинение, пред'явленное группе профессоров, отличалось «особо глубокой научностью» и гласило следующее:

– «Группа профессоров во главе с директором мединститута обвиняется в разведении культуры бацилл для отравления воды и составления рецепта красок для детских игрушек, имеющих ядовитые вещества».

Расчет был верный у этих ученых врагов народа: детишки каждую игрушку суют в рот и, облизывая вражье профессорское зелье, начинают вымирать, как мухи. Хорошо, что эти коварные планы были заранее раскрыты талантливыми чекистами, и спасены тысячи бедных малюток.

Можно только искрение пожалеть об одном, что профессора действительно не изобрели соответствующее снадобье для покраски сосок, из которых не мешало бы накормить этих дегенератов из Г.П.У.

Среди арестованных находился один работник искусства. Культурный, образованный человек, вероятно, на почве чрезмерного употребления алкоголя и других наркотиков дошедший до психоза. Этот больной артист все же не был лишен остроумия, и его замечания отличались иногда глубоким сарказмом.

Однажды в откровенной беседе я ему задаю вопрос:

– Скажите, Александр Иванович, вы вполне культурный человек с незаурядными способностями, возможно даже талантливый, зачем же вы губили свою жизнь всякой наркотической гадостью?

Последний как то странно на меня посмотрел и шепотом произнес:

– Вам могу, Виктор Иванович, сказать откровенно. Видите ли, я никогда не занимался политикой, но в то же время, как всякий истинно русский человек, люблю свое отечество. И вот, представьте, когда я начинал подолгу вглядываться в «классические черты» лиц наших вождей с «мудрым отцом» во главе, когда перед моими глазами мелькали физиономии советских маршалов с бесчисленными орденами на груди и тупыми, бездарными физиономиями, – мне становилось жутко, страшно за родину, и я пил, много, долго, – до забытья…

Не знаю, действительно ли он пил по той причине. Возможно в его словах и кроется разгадка повального пьянства в социалистическом раю.

В одном с ним безусловно можно согласиться, что на человека впечатлительного вся эта галерея «особо одаренных лиц» – могла произвести впечатление, настоятельно требующее немедленного принятия сильнодействующих средств.

Аресты профессуры, инженерно-технического и командного состава еще с натяжкой могли бить оправданы в глазах доверчивого населения, как из'ятие врагов народа. Но, как видно, этого контингента уже не хватало для выполнения заданных контрольных цифр, а конвейер требовал себе все нового и нового пополнения, так же, как и гимнастерки следователей ожидали красивых побрякушек.

Однажды в нашу камеру прибыло пополнение уже из прослойки самой что называется основной опоры диктатуры пролетариата – рабочих Байрам-Алинского завода. Новые пришельцы рассказали, что за две ночи их было арестовано 90 человек. Под плач жен и детей эту группу усадили в вагоны и привезли и нашу тюрьму.

В камеру № 11 попало пять человек. Все они были старые кадровые рабочие, десятками лет трудившиеся на заводе. Самому старшему из них насчитывалось 68 лет. Мне, как старосте, пришлось их встречать и устраивать на новоселье.

Ознакомившись поближе с этими людьми, я окончательно перестал понимать все происходящее. Ведь стоило только одному порядочному человеку поговорить с этими темными, безграмотными пролетариями, как всякая версия о каком-то политическом вредительстве с их стороны становилась прямо абсурдной.

Но, как видно, потерявшие голову бандиты ничего уже не понимали и не могли остановиться в своей провокационной работе. Мой старичок, представляющий собой олицетворение безграмотности, со старческой наивностью должен был играть в этой комедии роль лидера.

В шутливом тоне задаю ему вопрос:

– Ну, вот что, дорогой папаша, здесь в камере я староста, и мне, как «на духу» – все должны искренно рассказывать свои преступления. Вот и ты, как руководитель массового вредительства на заводе, должен честно во всем сознаться.

Бедный старичок, с выговором на «о», смотрит на меня серьезными недоумевающими главами и говорит:

– Ей-Богу, староста, ничаво не знаю. После ареста меня привели к какому то начальнику. Он спрашивает:

– Ты эс-эр?

Я что-то яво не понимаю и говорю:

– Што это «эс-эр»?

– Как он ударил меня по лицу и закричал:

– Не знаешь, што такое эс-эр?

– Тут я понял и, вытирая кровь, говорю:

– Нет, я не эс-эр, а мордвин.

Начальник совсем озлился и, ударив сапогом в живот, приказал увести. За что он обиделся, никак не пойму.

От короткого, внешне смешного рассказа, повеяло жутью. Человек не имеет понятия, что такое эс-эр и думает, что его спрашивают о национальности. Этому старику приписывали руководство группой вредителей Байрам-Алнинского завода.

Месяца через два старичка вызвали на допрос. Вернувшись с положенным количеством синяков на теле, последний обратился ко мне за консультацией:

– Староста, скажи пожалуйста, чаво это следователь сегодня дал бумажку и говорит – распишись, что ты обвиняешься по 58 статье, еще какое-то слово и 4.

Я ему тут же об'ясняю:

– Тебе, вероятно, пред'явлено обвинение по 58 статье, параграфу четыре.

Он обрадовался, что вспомнил слово «параграф» и сразу стал просить об'яснить, что это значит.

Моя дальнейшая беседа с ним заставила немного развлечься окружающих.

Исполнив его просьбу, заявляю:

– Слушай, папаша, мы даже и не подозревали, что ты так ловко можешь разыгрывать простака, являясь одновременно таким крупным преступником. Поэтому брось свое постоянное «чаво» да «чаво» и отвечай-ка уже более откровенно. Если тебе пред'явлен 4-й параграф, то у следователя бесспорно имеются веские основания. Да ведь ты и сам прекрасно понимаешь, что такое 53-я статьи параграф 4. Это же самое тяжелое обвинение.

Мой бедный старичок, окончательно смутившись, продолжает бессвязно лопотать:

– Ей-Богу, староста, не знаю, ни в чем не виноват.

Я продолжаю нашу беседу и говорю:

– Ведь 53-я статья параграф 4 – это есть связь с международной буржуазией. Вспомни хорошенько, когда, чем и какому буржую помогал, и не запирайся пожалуйста.

Старик окончательно обескуражен и моргает глазами.

– Ну, хорошо, продолжаю я, – если не помнишь ничего о связи с между народной буржуазией, хорошенько припомни, не

помогал ли когда-либо русскому буржую?

На лице бедного старика крайняя растерянность и напряженность.

– Давай, не запирайся, все напрасно, лучше расскажи откровенно, может быть когда-либо колол дрова буржую или уборные чистил? Пойми, что все это рассматривается, как помощь буржуазии.

Со всех сторон несется искренний смех, а мой преступник и тут беспомощно твердит:

– Не помню, староста. Ей-Богу не работал я у буржуя никогда. Всю жизнь сызмальства, вот уже 50 лет, как на заводе.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. А грустно потому, что таких «папаш» с одной стороны и подростков с другой, сидели в тюрьмах миллионы. Многие из них, вероятно, и до сих пор не могут вспомнить, какому буржую они помогали колоть дрова или убирать нечистоты.

Однажды нам об'являют, что желающие могут пописать заявлении кому угодно и о чем желают.

Наивная вера в справедливость все еще теплилась у многих. Казалось, что расскажут кому-то о своей невиновности, и там придут в негодование от этих искренних и жутких строк. Большинство все еще верило, что творимая инквизиция является делом рук исключительно Г.П.У.

Сейчас оставшиеся в живых прекрасно понимают, что главным инквизитором был не кто иной, как сам «родной папаша», который из-за своего звериного самолюбия и сегодня продолжает гнать на убой миллионы русских солдат, опираясь на жидовско-чекистские пулеметы. Только эти отбросы человеческого общества, не могущие найти себе куска хлеба честной работой, спасая свою шкуру и сытую жизнь, охраняют и своего кровожадного хозяина.

Я также поддался минутной слабости и решил написать заявление. Немного подумав, кому же адресовать свое послание, окончательно остановился на Ворошилове. Когда меня вызвали в отдельную комнату, и дежурный надзиратель, вырвав из засаленной книжки листок бумаги, швырнул последний на стол, я немного смутился и заявил, что собираюсь писать товарищу Ворошилову, почему и прошу дать мне хороший лист бумаги.

В ответ на »то грубый голос произнес:

– Подумаешь, хорошую бумагу захотел. Для вашей шпаны и этого жаль, а на ней пишут всем, и даже самому Сталину.

Я еще раз упрекнул себя в душе за наивность и заявил, что писать передумал. Получив пару крепких слов за свое непостоянство, был немедленно водворен снова в камеру.

Просидев в камере № 11 до 10 января 1930 года, днем раздался голос надзирателя:

– Мальцев есть?

Отвечаю – «Я».

– Собирайся быстро с вещами.

Немного волнуясь, начинаю запихивать в мешок свой скарб. Камера оживилась. Отношен по соседей по камере глубоко меня тронуло. Один сует кусок хлеба, другой сахару. Организовали на ходу сбор денег и вручили мне на дорогу 32 рубля.

Прощаясь, я поблагодарил за теплое отношение и скрылся за тюремной дверью.

Меня снова, как оказалось, перевозили во внутреннюю тюрьму.

Посадка, путь и высадка из «Черного ворони» прошли по положенному ритуалу без каких-либо осложнений.

Очутившись уже в знакомом длинном коридоре внутренней тюрьмы и увидев дверь камеры № 19. мне безумно захотелось попасть снова в нее. Кто-то там сидит? Есть ли старые знакомые, с которыми пришлось пережить много тяжелых минут и среди которых происходила переоценка ценностей существующего политического порядка? Камера № 19 тянули к себе подобно магниту.

Привратник наконец останавливается напротив камеры № 19 и, к моему глубокому разочарованию, открывает засов двери № 18.

Камера № 18.

Войдя в это новое убежище с тяжелым сердцам, я увидел в маленькой комнатке без окон, с потолочным фонарем, лежавших в различных позах пять человек.

Быстро знакомлюсь с соседями, обмениваюсь новостями и устраиваюсь в привычной обстановке.

Здесь мне пришлось просидеть четыре месяца. Соседи были простые, хорошие люди. Дружил я особенно с профессором Парабочевым. Последний, как видно, от избиении и моральных унижений, на моих глазах становился психически ненормальным человеком. Каждый шаг сторожа или часового, разгуливающего но крыше тюрьмы, приводил его в сильное возбуждение. Он нервно срывался, делал безумные глаза и шептал мне:

– Слышите, Виктор Иванович. Вот они уже идут за мной и сейчас поведут на расстрел.

За этим следуют слезы, истерика, – и так каждую ночь.

Особо сильно на него повлиял последний вызов на допрос, где ему, как директору мединститута, устроили очную ставку с одним профессором евреем. Как видно, этот трусливый нудей получил заверение от палачей, что ему пощадят жизнь, если он на очной ставке даст желательные показании. С ужасом в глазах профессор Парабочев рассказывает мне об очной ставке.

– Вы только поймите всю подлость этого негодяя. Неужели люди могут дойти до такого падения. В какое жуткое время мы живем. Представьте, он смотрит прямо мне в глаза и подтверждает, что я ему давал вредительские установки.

Голос Парабочева срывается, а тело бьется в истерике.

11-го апреля 1939 г. вечером нам об'явили, что ночью мы будем переходить во вновь отстроенную тюрьму. Началось оживленное обсуждение вопроса, попадем ли мы все вместе в камеру. Но в действительности все оказалось не так, как мы себе представляли. До самого утра нас вызывали но одному человеку, и надежда вместе попасть в камеру исчезла.

Пришла очередь и за мной. Вот я уже в новой тюрьме. Привратник, втолкнув меня в одиночку за № 46, быстро защелкнул замок.

Камера № 46.

В этой одиночке мне пришлось познакомиться с последними новинками строительной советской техники.

Надо отдать справедливость «мудрому отцу»: строил он тюрьмы не в пример лучше царских. Тут все было продумано до мелочей. Заботливость «гениального вождя» действительно была изумительной. Даже, вероятно, в целях предохранения зрения «своих любимых детей» от яркого солнечного света, окна были не простые большие, как в царской тюрьме, а свет попадал преломляясь через узкую щель в виде перископа. Одним словом, сидящий не мог видеть не только земли, но даже и неба.

Замки на дверях отличались особой прочностью и защелкивались автоматически. Дежурный надзиратель не ходил уже, как раньше, с громадной связкой ключей в руке.

«Наши границы на прочном замке» – лозунг, висевший над входом в НКВД – соответствовал действительности. Но вероятно, и здесь но «гениальной рассеянности «мудрого папаши» произошла небольшая ошибка. Замки то оказались действительно очень прочные, но только не у границ СССР, как это показала Германская Армия, а у новых советских тюрем.

Сидя в одиночке, с глубокой грустью вспоминал я большую царскую тюрьму, широкие окна с толстыми решетками, издающую аромат парашу, и близком содружестве с коей проводил много ночей.

Теперь в этой усовершенствованной клетке мне пришлось почувствовать весь ужас одиночества. Почти шесть месяцев сидения в камере № 40 я не видел ни одного лица, не слышал человеческого голоса, кроме окриков дежурного надзирателя. Тут только понял я всю стадность человеческого существа и его тяготение к себе подобным.

С 6 часов утра и до 10 часов вечера ходишь, как затравленный зверь в клетке, не имея права даже прилечь на койку.

Желание перебросится парой слов с живым человеком, наконец, прочитать хоть какую-либо книжку, становилось все более насущным.

Но все тщетно. Человек мог рассуждать только сам с собой. Это одиночество было кошмарно и не могло сравниться со всеми невзгодами большой камеры.

Воспоминания о том, как мне приходилось распределять площадь камеры № 11 для размещения на ночлег 109 человек – было далеким приятным сном. Одиночество, гнетущее и

убивающее даже мою жизнерадостную натуру, все больше охватывало душу, и мое построение сменялось от состояния безразличной апатии до буйного протеста.

Но кончить этот кошмар не было ни какой возможности. Все предусмотрено в этом застенке, а глазок волчка через каждые 2-3 минуты систематически открывался и дежурный привратник зорко наблюдал за твоим поведением.

Такая обстановка была тяжелее избиений на конвейере. Там нос же были кругом хотя и замученные, но люди. Отсутствие денег и невозможность купить себе даже махорки окончательно доводили до исступления.

Сидя в этой клетке и не имея табаку, мои нервы стали окончательно сдавать. Я начал вести об'яснения со стражей в совсем неподобающем тоне, за что частенько от последних и получал «физические замечания».

Время шло.

И вот, наконец, когда не требовалось уже, как видно, никакой особенной мудрости, чтобы понять невозможность дальнейшего продолжения всей этой кампании но выкорчевке врагов народа, резко меняется курс.

Сталину надо было как то остановить машину конвейера, оставаясь самому в то же время непогрешимым, как всегда.

Начинается поголовная смена палачей из НКВД. Приходят новые люди, и вопросы последних совсем не напоминают прошлый конвейер. Все очень вежливо, без всякого насилия и даже с точными датами начала и окончания допроса.

Повеяло свежим ветерком. Но нервы уже в конец измотаны. Не было никаких желаний и надежд. Хотелось только одного – курить и курить и своей одиночной клетке.

Однажды на очередном допросе, бел всякого уже насилия, следователь, перелистывая об'емистый материал, зачитывает отдельные пункты, характеризующие мою работу, как вредительскую. Все первоначальные версии об измене родине, шпионаже, фашизме и проч., окончательно отпали.

Я теряюсь в догадках об авторах этого документа, но в то же время спокойно даю исчерпывающие ответы, так как перед арестом был в Москве, и анализ работы нашего Управления за 1937 год дал блестящие результаты. Туркменский воздушный флот по праву снова занял первое место.

Уезжая из Москвы, ответственные чиновники главка с улыбкой пожимали мою руку и заверили, что на днях последует приказ о денежном премировании. Кроме этого, послано представление в верховный совет СССР о награждении меня и группы летно-технического состава орденами.

Результаты работы коллектива действительно были блестящие.

Но следователь, заглядывая в бумаги, квалифицирует, как вредительство, то подтасовкой фактов и не зная происхождения находящегося в руках у следователя документа, заявляю:

Выведенный из терпения подобной подтасовкой фактов и не зная происхождения находящегося в руках у следователя документа, – заявляю:

– Я никогда не соглашусь с зачитанными вами пунктами. Мне трудно в настоящих условиях отвечать на все вопросы, так как я слишком измучен и к тому же не имею под рукой необходимого материала. Вы можете опросить моих ближайших помощников, как-то: главного инженера Яновского, начальника планового отдела Пискова, начальника финансового отдела и главного бухгалтера Филатова. Последние с цифрами в руках докажут наглую подтасовку фактов, изложенных в этом документе, и вы убедитесь в том, что результаты работы Туркменского управления являются самыми лучшими в аэрофлоте за 1937 год и уж, конечно, не вредительскими.

Уезжая из Москвы, я не успел получить утвержденный акт, но комиссия подвела итоги, и наши показателя по нраву заняли первое место.

Следователь с улыбкой записывает все сказанное. И голове у меня просто не укладывалась мысль о возможной низости и трусливости некоторых людей, готовых пойти на любую подделку цифр и изменение формулировок с целью выслужиться перед НКВД и обезопасить свое мещанское благополучие.

Меня арестовали через несколько дней после приезда из Москвы. Оказывается, как только об этом стало известно в главном управлении, члены комиссии, давшие вначале беспристрастный анализ работы, так перепугались, что немедленно порвали проект постановления и, собравшись на вторичное совещание под председательством иудея Фанштейна, все положительные стороны работы взяли под сомнение, а лучшие показатели охарактеризовали, как вредительские.

Логика, у этих трусливых лакеев была очень простая. Если Мальцев арестован, как враг народа, надо и его работу расценить, как вредительскую, иначе получается неувязка и могут быть личные неприятности. Вопросы элементарной честности и порядочности отодвигались на задний план перед животным чувством страха за свою подленькую жизнь.

Не ожидая такого оборота дела, я категорически отрицаю вредительство и настаиваю на опросе моих помощников. Следователь вежливо заявляет:

– Разрешите из всего вами сказанного записать в протокол следующее:

– Вы категорически отрицаете свою вредительскую работу и настаиваете на опросе Яновского, Филосова и Хискова. При этом утверждаете, что последние документально подтвердят отсутствие всякого вредительства и докажут, что работа Туркменского воздушного флота является образцовой. Согласны?

Я отвечаю: Правильно, и соглашаюсь эту формулировку занести в протокол.

После записи следователь с торжествующим видом показывает мне последнюю стран туг акта, и я вижу восемь подписей. Но что меня окончательно обескуражило, это наличие среди последних фамилий Яновского, Пискова и Филосова. На секунду я просто перестал что-либо понимать, а затем жуткое омерзение охватило меня при мысли, что и эти ближайшие помощники оказались также продажными, трусливыми людьми. Было ясно, что после этого доказать свою невиновность становилось почти невозможно.

Следователь наблюдая за произведенным эффектом, самодовольно заявляет:

– Ну, теперь, надеюсь, вы уже не будете и дальше отрицать вашей вредительской работы? Помощники, на которых вы ссылались только что, также подтверждают это, совместно с другими специалистами.

Злоба и отвращение к этим людям клокотали внутри. Все сделалось безразлично, опротивела сама жизнь. Следователь снова обращается ко мне и заявляет:

– Итак, разрешите записать, что «после пред'явления мне неопровержимых улик, я вынужден признать свою работу в воздушном флоте вредительской, направленной к разрушению самолето-моторного парка и развалу всей организации в целом. – Верно?

Глядя на его победоносную физиономию, отвечаю:

– Да, после, того, как я увидел подписи даже своих помощников, приходится сознаться. Ничего не поделаешь.

Следователь с готовностью берет ручку для записи долгожданного признания. Подумав минуту, я заявляю:

– Хорошо, пишите, – и диктую:

– Я гордился и горжусь работой коллектива, которым мне пришлось руководить в течение двух лет. И если когда-либо восторжествует правда, а я снова выйду на свободу, то буду так же «вредить», как «вредил» и до ареста. Все же подписавшие пред'явленный мне акт являются гнуснейшими трусами, продающими честь и совесть и любой ценой спасающие свою

жалкую жизнь.

Мои слова немедленно согнали с лица следователя торжествующую улыбку, и последний, разводя руками, заявил:

– К чему вся эта гордость и бесцельное отрицание очевидных фактов. Советую, пока не поздно, еще раз подумать и искренне сознаться. Не забудьте, что дальнейшее запирательство в своих преступлениях, при наличии имеющихся документов, приведет вас к расстрелу. В случае же полного раскаяния вас могут осудить на восемь или десять лет в лагеря.

Я весь дрожу от негодования и заявляю:

– Гражданин следователь, разрешите уж мне хотя бы умереть без вашего сочувствия и совета. Пишите точно, что мною продиктовано, в противном случае я не подпишу протокола.

Последнему ничего не оставалось, как дословно занести вышеуказанную редакцию. На этом допрос был прерван и меня увели в камеру.

В памятник день 5-го сентября 1939 года настроение было особо подавленное. Делаю свои бесконечные три шага из одного угла в другой, мысленно закручиваю папироску и наслаждаюсь глубокой затяжкой.

Вдруг открывается форточка, и голос произносит:

– Быстро, быстро оденься!

Одеваясь, думаю только об одном:

– Прежде, чем следователь начнет задавать снова бесконечные вопросы, я ему в самой категорической форме заявляю:

– Дайте мне хотя бы два рубля на махорку, в противном случае никакие ваши надзиратели не усмотрят, и я себе сумею разбить голову.

С этим решением выхожу из камеры и длинным коридором следую в здание НКВД. Войди в кабинет и не обратив внимания на лежащие у следователя на столе мои альбомы и бумаги, не дав ему открыть рта, твердо заявляю:

– Дайте мне два рубля на махорку, или же я все равно я сумею покончить с собой, не взирал на всю бдительность вашей стражи.

В ответ на ото следователь любезно улыбается и просит садиться, вопреки всем правилам, к его столу. В это время в кабинет вошли еще двое. Одни из вновь пришедших, указывая на ворох бумаг, лежащих на столе, говорит:

– Здесь, товарищ полковник, бумаги, из'ятые у вас на квартире при обыске. Прошу просмотреть, что надо отложите, ненужное бросить в корзину…

– Вы свободны.

Ни радости, ни удивления не почувствовал я в эту минуту. Полное безразличие сковало все существо. Вероятно, еще не вполне ясно представлял происходящее. Но нот следователь подает мне бумажку и просит расписаться.

В поданном документе читаю, что освобожден из под стражи в 15 часов 45 минут 5-го сентября 1939 года.

Горькая усмешка шевелится где то внутри, и я невольно с иронией заявляю:

– Какая точность, даже минуты проставлены.

Только тут начинаю осознавать, что в моей жизни произошло что-то значительное, – пришел конец обстановке, с которой я уже так сроднился. На минуту становится страшно при мысли:

– Куда же я сейчас пойду?

Поборов это состояние, заявляю, что мне необходимо еще хотя бы ночь провести в камере и обдумать дальнейшее.

Тот же вежливый голос отвечает:

– К сожалению, мы не имеем права вас задержать даже на один час.

Смутно преломляются в разгоряченной голове слова:

– «Не имеем права»…

Значит, все-таки есть какое то право. Закон?

Мой взгляд невольно упал на висевшие на моих плечах жалкие лохмотья, истлевшие окончательно от тюремного пота.

Следователь, видя мое замешательство, любезно предлагает ремешок (последний ни в коем случае не разрешалось иметь в тюрьме). Рекомендуя последний одеть, он с улыбкой заявляет, что советует пойти сейчас в парикмахерскую, находящуюся здесь же по соседству, и побриться.

Сев в парикмахерское кресло, я в первый раз после ареста увидел свое отражение в зеркале. В стекле ничего не было общего с тем, к чему я так привык в до тюремном туалете. На меня глядело бледное, изможденное лицо с глубоко ввалившимися глазами, и что еще поразительнее, с длинной седой бородой.

Под опытной рукой парикмахера молниеносно исчезала седая растительность, а лицо с каждой секундой становилось все более знакомым.

На свободу.

Приведя себя в относительный порядок и оставив незатейливый гардероб в тюрьме, я вместе с привратником к большим тюремным воротам. Скрипят засовы.

И как все до жуткости просто.

Я уже свободный человек, стоящий на тротуаре и растерянно озирающийся по сторонам. Казалось, что проходящие люди сейчас же остановятся и будут тебя рассматривать. Но странное явление: все куда то спешат, проходят мимо, не обращая на тебя никакого внимания.

Такое безразличие меня почему то подбадривает, и я начинаю обдумывать свой первый маршрут. Куда идти? Родных никого нет. Но ведь есть родной воздушный флот. Подумав секунду, решительно направляюсь к своему Управлению.

Подхожу к знакомому зданию. Ничего не изменилось. Все по старому на своих местах. Напротив, как и раньте, стоит тот же автобус с надписью «АЭРОФЛОТ». Около последнего собралась группа летчиков, человек 15.

С жгучим любопытством подхожу ближе и вижу ряд знакомых лиц, слышу их смех, веселые шутки. Никто не обратил внимании на подошедшего оборванца.

Делается как то особенно больно на душе. Ведь это же мои питомцы, с которыми приходилось много переживать как на земле, так и в воздухе.

Взгляд рядом стоящего летчика рассеянно скользит по моей фигуре. Вдруг лицо соседа изменяется, глаза впиваются остро в меня, и последний с испугом полушепотом спрашивает:

– Товарищ полковник, это вы.

Отвечаю с улыбкой – «Я».

– Да ведь нас уже расстреляли, откуда же вы взялись.

– Вероятно еще не расстреляли, если беседую с вами, а взялся я прямо из тюрьмы.

Мой сосед вскрикивает от неожиданности и удивления:

– Товарищи, смотрите, среди нас наш полковник.

Немедленно становлюсь центром внимания. Говорить ничего не могу, так как чувствую, что сейчас расплачусь, как ребенок. Прошу меня отвезти в автогородок и дать немного успокоиться. Летчики на руках подсаживают в машину.

И вот я уже перед дверью своего приятеля. Сбрасываю истлевшие тюремные одежды и с наслаждением погружаюсь в ванну. Временами кажется, что это только сон, и сейчас все снова исчезнет. Но кончаю мыться, выхожу из ванны, а любезный

хозяин одевает меня в чистое белье, костюм и свои ботинки.

На столе уже приготовлены всякие вкусные вещи и рюмка водки. Невольно вспоминаю, как часто в камере, будучи голодным, я закрывал глаза и мысленно предавался чревоугодию. Но что случилось? Чувствую, что ничего не могу есть. Вероятно, наступила неизбежная реакция.

Трогательное отношение ко мне летчиков было лучшей наградой за все мучения и издевательства.

Ранее я всегда подшучивал над другими и был уверен, что так называемые «истерики» принадлежность исключительно женского пола. Но оказалось, что и мне с ними пришлось познакомиться. Когда друзья в честной кампании проявляют к тебе исключительную любовь и внимание, а на столике патефон наигрывает грустно-задушевную мелодию, – нервы окончательно сдают.

Как видно, уж слишком резкий контраст между тюрьмой и действительностью. Дружеские, полные любви и участия слова окружающих лишают окончательно самообладания, и конвульсия содрогает когда-то исключительно здоровое тело и нервы.

Но минутная слабость проходит. Беру себя в руки, прошу извинения и поднимаю бокал за своих лучших друзей.

Неоправдавшиеся надежды.

Дней через пять, тепло расставшись со своими питомцами, уехал в Москву. Настроение самое прекрасное. Сердечное и искреннее отношение летчиков заставило снова полюбить людей и забыть кошмар прошлого. Еду полный надежд и желания поскорей получить назначение и с жаром взяться за любимую работу. В душе не было ни обиды, ни злобы, но так же бесследно исчезла вера и уважение к вождям.

Хотелось искренне восстанавливать разрушенный воздушный флот. Работать, не покладая рук, для любимой родины. Но не было уже слепого поклонения и наивной веры в «самую демократическую конституцию в мире. Личная обида, несмотря на все издевательства, отодвигалась на задний план.

После тюрьмы я был глубоко убежден, что система государственного управления, покоящаяся на фундаменте бесправия и рабства, не может быть долговечной.

Поговорка – «На штыках не удержишься» – полностью подходила к обстановке в Советском Союзе, созданной «мудрым отцом».

Цену хвалебных гимнов в печати, громких трафаретных резолюций и криков «ура» на собраниях и митингах, я уже знал хорошо. Миллионы невинно пострадавших, а с ними вместе и их семьи, ясно видели ложь, вероломство и обман, ненавидя всей душой бездарно-кровожадных руководителей.

Громадный колосс, именуемый СССР, несмотря на внешнее величие, стоял на глиняных ногах. Он ждал только первого толчка, чтобы молниеносно разлететься на мелкие куски, похоронив под собой всю систему произвола и насилия.

Мое желание после тюрьмы сводилось к одному: работать честно для родины и открывать глаза наивным людям на оборотную сторону медали советской демократии, приближая таким путем неизбежный конец иудо-сталинской клики и их верных телохранителей из НКВД.

В Москве меня ждало разочарование. Явившись к начальству, я встретил вместо теплоты крайне сухой прием, поставивший меня в тупик. А многие чиновники Главка, за время моего сидения в угоду НКВД подтасовывавшие показатели моей работы, представляя таковые во вредительском свете, всячески избегали встречи. Какой резкий контраст между теплым, сердечным приемом летчиков и боязливой сухостью трусливых начальников.

Эта обстановка, на которую я уже никак не рассчитывал, после перенесенных страданий заставила меня болезненно

насторожиться. Становилось ясно, что ко мне относится с недоверием.

Вначале все сошлись на одном, что надо отдохнуть. Но вот отдыхаю месяц, другой. Наконец надоедает болтаться без дела. Прошу дать назначение. Вначале не понимаю, почему это так сложно. Ведь воздушный флот, коим я командовал, держал все время первенство в Союзе.

Но дело оказалось не в моих знаниях и энергии.

Надо было найти для меня работу внешне почетную и сытную, а в то же время устраняющую тебя окончательно от оперативного руководства воздушным флотом.

И вот, наконец, после долгих вступлений, осторожно начинают говорить о дальнейшем восстановлении моего здоровья и с этой целью предлагают поехать на должность директора санатория Аэрофлота в г. Ялту. Это предложение уже не вызвало никаких сомнений и означало почетную сдачу меня в архив.

Видя принятое решение начальства, вероятно, по предписанию НКВД, с присущей мне иронией заявляю:

– Что ж, я с удовольствием поеду на эту работу. Представьте себе, всю жизнь мечтал о таком счастья – быть директором санатория. Вот наконец, хоть и под старость лет, все-таки добился.

Не откладывая в долгий ящик, быстро собрал вещички, и 1-го декабря 1939 года явился в Ялту и принял свою высокую должность.

Тихая курортная, ленивая жизнь. Как все это непохоже на постоянное оживление аэропортов с беспрерывным гулом авиационных моторов.

Прошло полгода в новой обстановке. Привел в порядок здания санатория, от'елся на санаторных хлебах, и снова с еще большей силой потянуло в свою родную стихию. Но на неоднократные рапорты о переводе на оперативную работу – получал одни и тот же вежливый ответ:

– В настоящее время для вас нет работы должного масштаба.

Становилось окончательно ясным, что хотя ты внешне и реабилитирован, носишь форму полковника и орден, но в действительности ты поднадзорный и не внушающий доверия человек. Бесцеремонное и грубое окружение твоей персоны сексотами (секретными сотрудниками) от НКВД – наглядно подтверждало последнее.

Жить в такой душной обстановке, не имея к тому же живой работы, становилось чрезвычайно тяжело.

Часто думая о своем положении, мне была единственно непонятна трусливая двурушническая политика. С одной стороны

не хватало, вероятно, смелости просто убить человека в тюрьме, так как людей, подобных мне, оставались еще миллионы. С другой же – чисто жидовская боязнь назначить тебя после перенесенных издевательств на прежнюю оперативную работу.

К новой жизни

22-го июня 1941 года радио и газеты сообщили о войне с Германией. Началась свойственная советскому аппарату бестолковщина. Запрашиваю Москву, что мне делать. Ответ гласит кратко:

– Санаторий закройте и ждите указаний о вашем использовании.

Но, к счастью, так и не захотели эти трусы меня использовать. Пришлось распорядиться своей персоной по собственному усмотрению.

Наблюдая, как кругом в армию забирают мальчиков и стариков до 50 лет, не обращая внимания на их физические недостатки, начинаю окончательно делать для себя вывод, что, несмотря на звание полковника и накопленный опыт, тебя на войну не призовут. Там нужны слепые исполнители кровожадной политики Сталина, а не прошедшие суровую тюремную школу, критически мыслящие люди.

Прогноз подтверждается. Германская армия подходила уже к Крыму, а я в своей полковничьей форме по-прежнему командовал санаторием, но только уже без отдыхающих, т.е. превратился буквально в старшего сторожа над пустующими зданиями.

Медленно созревающий в голове вопрос – что делать? – окончательно оформился и я принял решение.

Идти было некуда. Там но форме свои, а внутренне совсем далекие, чужие и враждебно к тебе настроенные политработники, сотрудники НКВД и жиды.

Здесь ждет тебя тоже неизвестная Германская армия, о зверствах которой так много писали газеты. Но ведь не даром я сидел в тюрьме, чтобы снова наивно верить гнусной лжи, печатаемой советской прессой.

Решил твердо остаться в Ялте и вверить свою жизнь Германскому командованию.

Сегодня это уже пережитая страница.

Видя ужасы взрывов и поджогов при отступлении красной армии, благодаря чему население оставалось без хлеба, воды и света, во мне закипала ненависть к палачам русского народа и их главному вдохновителю, кровожадному отцу, опирающемуся на штыки НКВД и мировое жидовство.

По занятии Германскими войсками г. Ялты, в полной военной форме явился к командованию и об'яснил причины, побудившие меня остался. От последнего, вместо приписываемых советскими газетами зверств, я получил глубокое понимание и полное

доверие.

Только после долгой беседы с шефом С. С. я понял и осознал громадную пропасть между задачами национал-социализма и гнусной вероломной ложью иудо-большевиствующих комиссаров.

Близится час, когда русский народ окончательно увидит оборотную сторону медали «самой демократической конституции в мире».

Это будет страшный час расплаты для трусливых жидов, цинично спекулирующих кровью русского народа.

Пробьет последняя минута и главного оберпалача со всей его сворой, так безжалостно уничтожающего «своих любимых детей» по имя принципов личного тщеславии я звериной кровожадности.

полковник Мальцев Ялта, 20.VI.1942 г.